

Антология Живой Литературы (АЖЛ)

АНТОЛОГИЯ
Листая Свет и Тени

Издательско-Торговый Дом "СКИФИЯ"

2015

УДК 84 (2Рос=Рус) 6
ББК 82.32

Антология

Листая Свет и Тени / Антология — Издательско-Торговый Дом
"СКИФИЯ", 2015 — (Антология Живой Литературы (АЖЛ))

ISBN 978-5-00025-063-1

«Антология Живой Литературы» (АЖЛ) – книжная серия издательства «Скифия», призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. Публикация происходит на конкурсной основе.

УДК 84 (2Рос=Рус) 6
ББК 82.32

ISBN 978-5-00025-063-1

© Антология, 2015
© Издательско-Торговый Дом
"СКИФИЯ", 2015

Содержание

Предисловие	6
Елена Счастливецва	7
Шишки	8
Случай на болоте	16
Корова	22
Шарик	24
Когда меня не было	27
Урок китайского, или Военная тайна	32
Борис Сулович	34
Царскосельский вокзал	36
Прошение	36
Ученик	37
Жена	37
Невестка	38
Сын	38
Поезд	39
Похороны	40
Короткие рассказы	41
Полет	41
Зимнее время	42
Коляска	43
Взгляд	44
Пауза	45
Журавленок	45
Инфаркт	45
Встреча	47
Возвращение	48
Воронка	48
Сегодня	48
Полгода назад	48
Пять лет назад	49
Сорок два года назад	49
Пятьдесят три года назад	50
Вариант	51
Лариса Маркиянова	56
В новогоднюю ночь	58
Все будет хорошо!	64
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Листая Свет и Тени: антология прозы

Редактор-составитель Нари Ади-Карана

Серия: Антология Живой Литературы (АЖЛ)

Серия основана в 2013 году Том 3

Редактор-составитель Нари Ади-Карана

Издательство приглашает поэтов и авторов короткой прозы к участию в конкурсе на публикацию в серии АЖЛ. Заявки на конкурс принимаются по адресу электронной почты: skifiabook@mail.ru

Подробности условий конкурса можно прочитать на издательском сайте: www.skifiabook.ru

Все тексты печатаются в авторской редакции.

Предисловие

Принято говорить, что жизнь – вроде зебры – в черно-белую полоску. На самом деле она редко достигает такой глубины тона, чтобы быть по-настоящему черной или белой. Она какого-то нейтрального цвета, и по этой серенькой поверхности беспрерывно движутся, скользят Свет и Тени, Свет и Тени...



**Елена Счастливецва
г. Санкт-Петербург**



Печаталась в журнале «Север» в 2013 году, повесть «За рабочее дело»; рассказ «Шишки» получил 2-ю премию лит. конкурса им. Короленко в 2014 году; журнал «Север» № 3–4 2015 – рассказы «Шишки», «Самый счастливый день», «Урок китайского».

© Счастливецва Е., 2015

Шишки

Шишюк – леший, черт, домовый, вредный и старый, но не очень злой, по мнению автора.

На крохотной кухне обедали молча; стучали ложками, глотали суп. Виной была Вовкина двойка. Вчера, к тому самому времени, когда Вовку кто-нибудь из родителей забирал от деда с бабой спать, он вспомнил о докладе. Вовке необходимо было сделать небольшое сообщение по истории на тему, озвучить которую он никак не мог. На скомканном клочке, выпавшем из перевернутого вверх тормашками портфеля, с несколькими ошибками было написано: «Чесменская церковь как парафраз готики».

– Небольшой доклад, – Вовка извиняюще заглядывал в округлившиеся глаза деда и бабки. – Всего на пол-листочка маленький такой докладик...

Бабушка рванула ко Всеобщей истории искусств, дед – к Большой Советской Энциклопедии, Вовка – к Википедии. Совместный труд был судорожно сляпан минут за двадцать и благополучно забыт Вовкой утром дома. Другими словами, двойку по истории заработали совместно.

– Деда, Людмила Алексеевна сказала, чтобы ты пришел завтра в школу... – Вовка безуспешно пытался разрядить обстановку. Двойку дед с бабой воспринимали острее него.

Дед строго посмотрел на внука поверх очков.

– Не, честно. Она спросила: «Был ли у кого-нибудь дедушка на фронте?» Никто руку не поднял, а я поднял и сказал, что мой дедушка – блокадник. – Вовка водил ложкой в супе, изображая процесс поедания.

Дед глядел в тарелку, медленно подносил ложку ко рту и еще более медленно жевал десятком сохранившихся зубов.

– Ну, так ты пойдешь?

– Я же не герой: был тогда ребенком. – Сказано было категорично и почти по буквам. Суп деда интересовал куда больше беседы с подрастающим поколением.

– Давай, деда, сходи! – Вовке на помощь пришла бабушка.

– Кому это интересно? – вяло отбивался дед, не отводя глаз от супа и ложки.

– Детям, – бабушка заняла наступательную позицию. – Дети должны знать.

Дед устало вздохнул, но отвечать передумал.

– Так ты пойдешь? – спросил Вовка.

– Нет! – Дед доел суп и протянул бабушке тарелку для второго. – Никаких подвигов я не совершал.

– Как же, дед? У тебя медаль «За оборону Ленинграда»!

– Так ее всем давали, кто 900 дней пробыл в городе, не уехал в эвакуацию и работал. Маме моей дали, папе, тетке твоей. У нас вся семья – герои-медалисты. Соседка Матрена Терентьевна тоже героиней была.

– Дед, а я учительнице уже обещал... – Вид у Вовки был совершенно подавленный. – Ну, расскажи хоть что-нибудь, а я в классе это перескажу.

Казалось, дед ничего не слышал: он так же аккуратно, как и с супом, разделялся со вторым,

– ...Когда удавалось достать желатин, – неожиданно начал он, – мы брали лавровый лист, уксус, горчицу. В блокаду почему-то с уксусом было все нормально. Все это перемешивали, медленно...

Эту историю Вовкина бабушка за пятьдесят лет жизни с дедом слышала не единожды, и весьма вероятно, что ели само варево меньшее число раз, чем о нем рассказывалось, причем только о нем.

– Вся семья собиралась на кухне, наполовину загороженной чугунной дровяной плитой. Готовили **СТУДЕНЬ!** Разводили в кастрюле желатин, а к нему полагался самый настоящий острый соус! Тетка Аня искала лавровый лист, тетка Зося – черный перец... Приготовления к варке студня шли степенно и величественно-осознанно. Это был даже не процесс, не алхимия, а священнодействие! Не беда, что в том студне мясо не предполагалось, но студень можно было почти жевать.

Вот она, огромная семья, на довоенной фотографии: все улыбаются, все покойники – даже те, кто не попал в кадр, не добежал, не успел. Невидимый фотограф, не знакомый последующему поколению дядька Антон нажал на кнопку. Фотоаппарат клацнул, а спустя месяц в темной кладовке, при свете малиновой лампы, они все плавали в такого же цвета жидкости, извиваясь фотопленкой и устрашающе улыбались, обнажая черные зубы.

Живы только Вовкин дед и его сестра, хлопнувшаяся год назад головой о кафельный пол в сортире и оттого полностью потерявшая разум.

Она, будучи в здравом уме, любила другую байку: как с подружками рыла окопы, а в обстрелы, когда чуть стихнет, выползала на поверхность – покрутить ручку патефона или подтолкнуть заевшую иглу, с опаской озираясь на воюющие небеса, и быстрее по-пластунски назад: дослушивать песенку водовоза из «Волги-Волги». Таков был ее посыл в историю, завещание человечеству.

Воспоминаний про студень Вовке явно не хватало: не тянуло оно на «урок мужества», никак не тянуло. Дед, вероятно, и сам так посчитал, а потому далее последовала еще одна занимательная история.

– Сосед с третьего этажа один остался. Ходить на улицу не мог, он взял и вытащил на лестницу бадью с нечистотами и вывернул ее вниз в пролет.

Вот эта история прилась Вовке по вкусу, а дед безразлично продолжал: – Но он все равно потом умер.

– А как же вы мимо ходили? – Нечистоты на Вовку произвели большее впечатление, чем немогущность и смерть безвестного соседа.

– Так замерзло сразу, весной оттаяло, убрали.

Вовка уже сполз со стула. Необходимую ему информацию он из деда выбил, и завтра перед учительницей ему стыдно не будет.

– Вовка, не убегай! Дед, ну надо какую-нибудь другую историю для детей. – Бабушка преследовала сразу две цели: не обидеть деда и отобрать рассказы для класса.

– Как вы не понимаете? – дед заскрипел остатками зубов. – Об этом говорить нельзя!

Вовка с бабушкой пригнулись и притихли.

Об этом никогда никто не говорил, об этом не думали; во всяком случае, старались не думать. Его родня, поредевшая, собиравшаяся по самым незначительным поводам в гостиной за огромным дубовым столом, беседы вела о всякой бытовой ерунде.

О чем угодно, только не о 41-м годе, стараясь вытравить хоть малейшее воспоминание. Даже оговорки, даже случайные реплики не проскальзывали никогда! А вот то, что сказала вчера соседка или дама в троллейбусе... Любая мирная мелочь во сто крат была важнее. Дед гнал прочь воспоминания о детстве, тетки – о юности. Всем им это почти удавалось, и чем дальше, тем больше.

Другими словами, последующее поколение о безымянной даме в троллейбусе или даже в трамвае, а уж тем более о сельском хозяйстве Гондураса или Тринидада с Тобаго знало куда больше, чем о прошлом своей семьи.

– Вам ведь просто любопытно, а мне на некоторые фотографии больно смотреть! – Дед замахнулся, намереваясь ударить жилистым кулаком по столу, но попал в тарелку с недоеденным пюре, которую бабушка ловко подхватила. Злобное выражение искорежило лицо старика. Он вытер грязный кулак сначала о край стола, затем схватил и утерся висевшим кухонным полотенцем и молча, демонстративно, удалился к себе в комнату спать.

Пока шаркал тапочками до своей комнаты, немного поостыл. Лежа со сложенными на груди руками, он подумал, что напрасно погорячился. Вот теперь не уснуть, привычный распорядок нарушается. Дед, широко раскрыв рот, зевнул; из глаз выкатились слезы, но сон не шел...

Внук крайне не радовал деда своим поведением: от телевизора и компьютера не оторвать, читает из-под палки... На ум пришло высказывание Чайковского о том, что из детства человек черпает воспоминания и впечатления всю жизнь. А что у Вовки будет за душой, когда вырастет? Компьютерные стрелялки и троечные знания?

От Вовки с Чайковским мысль деда плавно перешла к куплетам Трике из «Онегина».

Как же он их не любил! До чего привязчивые! Их частенько передавали по радио. И крутятся они в голове, и крутятся... Позднее, чтобы их выбить, он напевал «Танец с саблями» Хачатуряна. Иногда помогало. А тогда он мальчишкой спешил вдоль Обводного на «Красный треугольник», где работал; спешил и пел эти дурацкие куплеты.

Светило солнце: первое весеннее ласковое дезинфицирующее солнышко, под которым оголяли гноящиеся и смердящие язвы человекоподобные выползки из соседних домов. Он шел мимо них, а глаза против воли разглядывали и ощупывали каждую выставленную, как на показ, язву. С тех пор бал у Татьяны и объяснение Ленского с Онегиным у него неразрывно связались с этими уродливобезликими человеческими огрызками, помноженными на детские страхи. Где там американским ужастикам! Слабаки!

Дед зевнул, сам перед собою пытаясь спрятаться за маску равнодушия, но за закрытыми дверями комнаты его никто не видел, а потому мысли потекли в печальном русле и скоро оттуда не выбраться.

«Какой уж там сон!» – это он сказал сам себе вслух. Зачем они окунули его ТУДА?

Он, понуро и послушно, встал с кровати, нашел чистую тетрадку в линейку, ручку и уселся за письменный стол, достал из футляра очки, водрузил их на нос. Наверное, он должен им что-то оставить?... И они правы...

По Обводному он часто ходил, а вот почему оказался один на Фонтанке, у Обуховского моста? Подошли две женщины, что-то хотели узнать: как куда-то пройти, что ли... Обстрел начался неожиданно. Он юркнул в парадную, зажался в угол, подальше от двери, от близких взрывов, содрогаясь вместе с домом. Но ни громкое дыхание, ни стук сердца не заглушали близкие взрывы и визг в небе. Он без надежды прощупал взглядом каждую ступеньку лестницы – не было здесь безопасного места, как не было его и дома с мамой. Когда утихло, он выглянул на улицу. Женщины лежали недалеко и были тем, чем мог бы быть он. Рядом с ними из сугроба высовывалась потемневшая одеревенелая рука.

...Дед очнулся в темноте от стука метронома. Старик потряс головой. Очки свалились с мокрого от слез лица, метроном исчез: это Вовка, вырвавшийся от приготовления уроков, дубасил палкой по картонной коробке. Старик, вздыхая, встал, упрятал тетрадку глубоко в стол. Скорбные мысли, обращенные в слова, покинули его, а потому дед объявил Вовке, что на «урок мужества» пойдет, если только будет хорошо себя чувствовать.

Назавтра, проснувшись, он никак не мог вспомнить, что же такое неприятное должно случиться именно сегодня. Мылся, одевался, кровать убирал – и не мог вспомнить, никак не мог. За завтраком, когда кашу ел, вспомнил. Стало еще тяжелее, но он знал, что в школу не пойдет.

После завтрака дед надел удобные валяные чуни и меховые варежки, натянул ушанку с опущенными ушами по самые совиные брови; приподняв бороду, укутал шею мохнатым теплым шарфом, взял палку и вышел на улицу. И с каждым шагом в противоположном от школы направлении он чувствовал себя все более и более свободным.

И оттого, что убежал ото всех, в аптеке дед оказался в чрезвычайно веселым расположении духа, а покупая привычные лекарства впрок, даже, нагнувшись к окошечку, оригинальнейшим образом пошутил с аптекаршей:

У меня давно ангина
Скарлатина, холерина,
Дифтерит, аппендицит,
Малярия и бронхит.

Девушка-аптекариша, как ему показалась, его не поняла. Окостенев, она сохраняла внешнюю невозмутимость – как и полагалось при работе с клиентами в тяжелых случаях.

– Что делать, классиков не читают! Молодежь! – Дед задорно ей подмигнул. Девушка опять не поняла:

– Вам чего, женщина?

– Ах, это не мне... – Чуть смутившись, дед отошел от окошечка.

И тем не менее все складывалось на редкость удачно: и лекарства он купил, и «Ессен-туки» нужного, как опять-таки пошутил, размера; даже, когда домой спешил, ловко увернулся от белого джипа, выезжающего на дорогу.

И хотя дома деда встретили молчанием, он рад был, что никого не послушался, и к тетрадке с мемуарами он никогда не притронется...

В тоненькой школьной тетрадке, беспорядочно, на разных строчках и страницах под Вовкиным заголовком «Домашняя работа» было написано корявой рукой:

холодно
обстрел, их убило,
страшно
темно
умер,
съел мамин хлеб, говорит, есть не хочу
темно
стук в дверь, шаги
хохочет, сошел с ума, зверь
умер, голод
страшно
темно
метроном.

Это были не мемуары с крайне любопытными бытовыми зарисовками – это был прорвавшийся из прошлого ужас.

По расписанию у Людмилы Алексеевны должен быть классный час, но поскольку на носу 23 Февраля, он заменялся на «урок мужества» с воспоминаниями ветеранов. Где их взять, этих ветеранов, и чтобы в своем уме? Накануне Новиков из ее класса пообещал, что его дедушка-блокадник придет, если будет себя хорошо чувствовать.

Людмила Алексеевна запаниковала было, подумав, что это дедушкина форма отказа. Ее мама, посвященная во все подробности учебного процесса, посоветовала позвонить своему соседу по подъезду; тот на 8 Мая всегда при медалях ходит. А что, если сейчас в класс одновременно явятся два полуглухих, незнакомых и уж точно полоумных, повернутых на политике старика? Сколько будет крику и ругани, дуэтом, не слушая друг друга, перед детьми...

Людмила Алексеевна вздрогнула: нет, лучше она сама проведет в классе этот «урок мужества»! Она – учительница французского, мать двоих детей, одиночка. Оставшееся время посвятит классному руководству. К счастью, никто из стариков не появился. Новиков поторчал в дверях класса, поговорил с кем-то по телефону и понуро поплелся к своей парте.

«Оно и к лучшему», – подумала Людмила Алексеевна, глядя на него. Зазвенел звонок, и она только успела открыть рот, как в класс вошел ветеран, мамин сосед. Не вошел – явился, всплыл, торжественно наодеколоненный какой-то дрянью, при медалях, в отглаженном добротном костюме, диссонирующем с дрябло висящей стариковской кожей. Людмила Алексеевна устыдилась своих мыслей: для нее этот «урок мужества» – галочка, причем не самая приятная, а для старика – событие.

– Ребята, к нам в гости пришел замечательный человек, ветеран Великой Отечественной войны Иван Акимович Петушков. Похлопаем ему!

Акимыч смутился.

– Иван Акимович, проходите, садитесь за мой стол, пожалуйста! – Людмила Алексеевна отошла за последнюю парту, чтобы лучше видеть, чем сорок пять минут будет заниматься ее класс: двадцать пять человек в возрасте одиннадцати-двенадцати лет.

Акимыч зашагал от двери к учительскому столу. Старик устал, он даже непроизвольно наклонился вперед, чтобы быстрее добраться до стула. Выглядело это комично: ряды медалей свободно болтались и позвякивали, пиджак сзади топорщился в виде журавлиного хвоста, выставленная вперед желтая узловатая рука искала спасительную спинку стула. Наконец она была поймана.

Акимыч, с грохотом отодвинув стул, плюхнулся на него, весомо выдержав паузу, солидно откашлялся и начал:

– Фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз... Первые дни войны... героическая оборона Брестской крепости... всюду организовывались партизанские отряды...

Голос у Акимыча был зычный, командный, и ребята быстро присмирели. Когда ветеран добрался до героического подвига жителей блокадного Ленинграда, Новиков приуныл. Людмила Алексеевна видела, как он повесил голову, сник, но вскоре принялся рисовать смешную рожицу на клочке бумаги.

– Иван Акимович, расскажите нам что-нибудь из своей фронтовой жизни. – Людмила Алексеевна сама бы могла провести такой «урок мужества» – разве что без блеска медалей.

– Мои воспоминания... – Акимыч сурово нахмурил одну бровь. – Тяжелое время было, ребята, очень тяжелое... Вот в партизанский отряд, например, забрасывали, ночью забрасывали с самолетов, чтоб фашисты не видели. А партизаны внизу, они костры, значит, развели треугольником, чтоб самолеты видели, где парашютистов сбрасывать. Летчик-то не знает, партизаны те костры развели или диверсанты и предатели... Самолеты у нас не простые были, У-2 назывались. Они низко так летали. Летчики туда не хотели идти, девчата на них летали...

Людмила Алексеевна насторожилась: сюжетик показался ей слишком знакомым, но дети слушали.

– Ох, девчата эти песни любили! А как они плясали... Закружится так лихо под гармошку! Э-э-э-эх! Но и среди наших ребят летчиков, ого-го, какие таланты были! Летчик один у нас замечательно пел песню про смуглянку. Так его Смуглянкой и звали, а смуглянка – это же девушка!

Ребята засмеялись, засмеялся и Акимыч. Он как-то быстро и легко стал детям своим.

Людмила Алексеевна смотрела на разговорившегося старика и с грустью думала: «Вот она, старость!» Сидит дед, сухой, как палка, как ее указка у доски. Бледно-желтая, с пигментными пятнами кожа обтянула лысую, с бородавками, башку, которая уже не помнит, что было с ним, а что – в телевизоре. В повествовании о героической фронтовой жизни Акимыча Людмила Алексеевна насчитала не то пять, не то шесть фильмов. А сколько было склеротически пересказанных до неузнаваемости? Вот так и она когда-нибудь будет своим внукам воспоминания на уши вешать, искренне веря во весь тот бред, что несет.

– ... предатели Родины... Иосиф Виссарионович...

Людмила Алексеевна вздрогнула: этого она боялась больше всего.

– Иван Акимович, мы вам очень благодарны за то, что вы пришли. – Она посмотрела на часы: до конца урока пять минут. Продержится! Людмила Алексеевна нейтрализовала Акимыча, мажорно заговорив и об уважении к старшим, и о любви к Родине, и о том, о чем необходимо было сказать на классном часе; Акимыч победоносно оглядывал класс.

Перед тем как вручить старику три чахлые гвоздички и коробку конфет, купленные на скудные деньги родительского комитета, она попросила его сказать что-нибудь напоследок. Акимыч поведал о том, как важно учиться и спортом заниматься; мальчики должны воинами быть, да и девочкам не следует отставать. Прозвенел звонок. Тут только дети загудели – Акимыч держал в напряжении класс весь урок. Это был подлинный триумф.

Старик, стоя в коридоре, испытывал почти головокружительную легкость. Он бы даже побежал сейчас, как мог, в душный класс к детям, к грязной доске с разводами мела – ко всему тому, что дало ему острейшее ощущение полета, счастья. Акимыч оглянулся, но дверь уже была закрыта.

– Эх! – махнул он рукой. – Еще раз приду, обязательно приду!

В том, что его позовут скоро, очень скоро – может быть, даже на следующей неделе, – Акимыч ничуть не сомневался: он видел, как его слушали!

Но старик не заметил, как исчезла учительница; как шмыгнул мимо пацан с точно такой же коробкой и гвоздиками для дедушки. Радость переполняла Акимыча, но не только она одна, еще и гордость за себя; за свой аккуратно отглаженный костюм с тремя рядами медалей; за белоснежную рубашку и галстук; за красные цветы в руках.

Акимыч спустился с третьего этажа в гардероб, и все шныряющие взад и вперед ребятишки почтительно обегали его: идет ветеран, герой. Гардеробщица помогла надеть ему пальто, а он, не привыкший к такому обхождению, все не мог попасть в рукав.

– Ах ты, господи! – добродушно сокрушался он. – Ну, спасибо, голубушка, спасибо!

Голубушка расплылась в улыбке.

Акимыч вышел на улицу и сразу понял: праздник закончился. Двери школы захлопнулись, и теперь он опять просто дед, согбенно и медленно идущий по улице. Ну, пусть с цветами и конфетами, но все равно – обычный старик. Грустно... Но ему звонко запела синица, и не одна. Акимыч весело подмигнул сам себе. Ничего, прорвемся! Господи, сокрушался Акимыч, ну почему он в школу к детям пришел так поздно, почему не ходил раньше? И хватит ли у него времени все поправить? Это ведь правда, что дети – наше будущее...

Он брел домой. Тротуар был не то скользкий, не то мокрый – конец зимы. Акимыч не торопился, шел медленно и осторожно.

Правильно старуха ему дома говорила: «Не ходи, упадешь!» А он молча хлопнул дверью, еще и палку не взял, дурак, постеснялся ребят: с медалями – и с палкой.

И Акимыч не упал бы, но виной всему был идущий навстречу старик, отключивший зад, переставлявший ноги, ничего не замечавший вокруг себя. Вдобавок этот старик задел Акимыча своей палкой. Тот не удержался, замахал руками, пытаясь удержать равновесие, но

успел только выкрикнуть фальцетом: «Стервец!» – и нырнул под колеса медленно выезжающего белоснежно-блестящего джипа с двумя грязно-черными капельками на морде.

«Стервец» адресовано было в пустоту, в никуда: дед, «подрезавший» Акимыча, был рассеян и глух и потому, как ни в чем не бывало, топал своей дорогой, не ведая, что он – стервец. Зато выскочивший из машины крепкий парень без слов схватил Акимыча одной рукой за шкуру, другой – за штаны на заднице и легко отбросил в сугроб. Он бросил его, как бросают мешок с мусором, хлам, и парню этому было абсолютно безразлично, кто и по какому поводу «стервец».

Так Акимыч очутился на вершине сугроба, дрыгая ногами, не достающими до земли. Крепко, как последнюю пядь земли, он обнял этот сугроб, боясь съехать на брюхе в лужу, в которой уже лежал ранее. Мысль, что его дергающийся зад, расчехленный развевающимися лапами пальто, увидят школьники, придавала Акимычу сил.

Он повернулся на бок и уселся. Сидел, как на насесте, крутил головой, пытаясь сориентироваться. От вращения в горизонтальное положение под колеса и обратно, в вертикальное на сугробе, он запутался, в какой стороне дом, но вытянутая вперед рука, как флаг, продолжала сжимать три революционные гвоздики с надломленными головками. Акимыч, разглядев «букет», в сердцах отбросил его.

Никого вокруг не было. Парень на джипе укатил так же молча, как и освободил проезжую часть. Дед, из-за которого Акимыч упал, даже не оглянулся, подлец. Ругаться было не с кем. Не было ни свидетелей его позора, ни прохожих, ни какой-нибудь старухи-квашни, способной его пожалеть, отряхнуть и помочь, причитая, слезть с грязного сугроба.

Варежки Акимыча промокли, кальсоны задрались к коленям, под резинки носков забился грубый жесткий снег. Стало ужасно жалко себя, и, сперва тонко-тонко и пискляво, но с каждым вздохом и всхлипом все горше и громче, Акимыч завыл. Слезы выкатывались и липли одна к другой где-то между тощим кадыком и шарфом.

Сделалось сразу мокро и зябко. При этом зад у Акимыча был совершенно сухой, но он ощутил им вселенский мертвецкий холод. Этот холод медленно шел из-под промерзшей земли, и он тянул Акимыча туда, вниз, сквозь остекленевшие сугробы. Так было в первый год его работы на Соловках...

Мальчишкой Акимыч был совсем, птенцом, неоперившимся. Когда охрана из церкви-изолятора на горе выволокла мужика, бородатого такого, невысокого... Тот все приговаривал: «Помилосердствуйте, братцы, помилосердствуйте...» Окал мужичок; может, одних мест он был с Акимычем, а может, и нет. Разве сейчас узнаешь? Потащили его к лестнице деревянной, к верхней ступеньке. А было этих ступенек аж четыреста штук! Ноги мужика не слушались, заплетались от страха, а он знай долдонил все одно: «Помилосердствуйте» да «помилосердствуйте».

Попятился Акимыч тогда, цепляясь за него взглядом. Оба они знали: то, что сиюминутно было еще человеком на верхней ступени лестницы, пролетев их четыреста штук, внизу будет даже не телом, а месивом, и этим месивом должен быть провинившийся мужичок. «Поше-е-е-л!» – Некифференко и Стасюк слаженно гаркнули, поднапружились, подкинули мужика, и тот исчез, «пошел».

Крику не было – только стук. Когда затих и он, Акимыч медленно осел в сугроб. Фалды жесткой шинели приподнимались и встали колоколом, винтовка за спиной поползла вверх, ушанка съехала на нос...

... Там, далеко внизу, лежала полоска Белого моря, белого от снега. Ближе к Акимычу оно процарапалось серо-черными стволами редких деревьев. Это был берег. А где море у горизонта поднималось, было небо: бледное, с пеленою облаков...

И облака эти со снегом холодным саваном объяли и сковали Акимыча.

– Яйца заморозишь! – он очнулся. Нос точно замерз и покраснел до прозрачности. Акимыч потерял нос и даже куда-то пошел, но куда бы он ни шел, он везде за ним плелся покойный мужичок, а товарищи из охраны буравили их обоих глазами. Темнота, в которой можно скрыться, не наступала. Бесконечен был тогда этот короткий северный день.

– На! – Некифференко, старший из охраны, глядя исподлобья, протянул ему стакан слабо разбавленного спирта. Акимыч выпил, но лучше ему не стало. Чуть отлегло, когда Некифференко объяснил, что мужик с бородой – враг. Враг тот не только окал, но еще и не выговаривал «р», а «с» и «з», шлепая губами, произносил со свистом, и потому никак у Акимыча не получалось до конца поверить Некифференко. Никак! Через день был еще один стакан, и еще. А потом была Танька...

Не любил вспоминать он те годы, забыть их старался, рад был, что перевели на Большую землю. Когда началась война, на фронт просился – не пустили. Здесь нужен! И он понял: служба везде служба. Он на своем посту, роптать не должен, время суровое! Служил он честно, боролся с врагами внутри страны, и уже без соплей. Дальше все пошло путем, но на встречи с пионерами не ходил, о службе помалкивал.

В глубине кармана штанов зазвонил телефон,

– Деда, ты куда пропал? Мама волнуется! – Звонил правнук, названный в честь него. Акимыч засуетился, шмыгнул носом, брякнул медалями под пальто, небоевыми.

Куда-то запропастились конфеты... Акимыч сполз с сугроба, выудил из месива на дороге коробку конфет «Наслаждение» и потопал домой.

«Хорошо, что коробки сейчас затягивают полиэтиленом, а то испортились бы конфеты», – подумал он.

Случай на болоте

– Земля! Земля! – но крик этот остался без ответа. Глас вопиющего. И его не заглушила ни беспорядочная пальба из пистолетов с длинными стволами, с загнутыми деревянными рукоятками, ни радостный хор луженых, испытанных ромом и крепким табаком мужских глоток. Тишина! А потому он раздался вновь:

– Земля! Земля! Григорьевна! Земля!

Поскольку доподлинно известно, что ни у Колумба, ни у Флинта не было не только Григорьевны, но даже и Тимофеевны с Гавриловной, то «земля» не имело никакого отношения ни к атоллавым островам, ни к миражам, парившим не то в небе, не то в море, не имело оно отношения ни к разодранным парусам, сломанным мачтам, протухшей воде в корабельных бочках, ни к зачервивевшей солонине и раскисшим галетам, собственно, как и к экспедициям Магеллана, Васко да Гама и прочих.

Кричал Ленька, сын бабки Дуни. На морях-океанах он, как и его бабка, никогда не бывал, ничего там не забывал, а следовательно, и охоты тащиться туда особенной не имел, ему и здесь было неплохо.

Ленька вынырнул из-за дощатого продуваемого ветрами нужника, пристроенного к дому Григорьевны. Легко отбросив подальше от себя лопату, он набрал полные пригоршни того, что по его разумению землей никак быть не могло. Почти вприсядку кривые ноги сами понесли его через бугристый, кое-как перекопанный огород к Григорьевне.

Сапоги соскальзывали с обросших, некстати позеленевших комьев в хлюпающие ямы, но подобострастно вытянутые вперед ладони, хотя и не с золотым зерном и не с водою Волгиматушки, драгоценный груз не просыпали.

Ленькин восторженный взгляд споткнулся о перекошенное злобное лицо Григорьевны. Ленкина физиономия изобразила еще больший восторг – на Григорьевну не подействовало, никак, не проняло.

«У, падла, – широчайше улыбаясь, подумал Ленька. – Заметила!»

Григорьевна заметила, еще как заметила.

– Ты, паршивец, мне какую печку наклал? А?

– Ты, че, Григорьевна? Ты глянь, че у тебя в уборной-то делается? Глянь! Чудо какое! Говна совсем нет! Даже не пахнет, – Ленька для достоверности поднес ладони с содержимым к носу и звучно втянул воздух. – Земля!

– Ты мне зубы-то не заговаривай. Земля у него! Полюбуйся на свою работу!

Любоваться работой Ленька не стал, а лишь слегка скосил взгляд.

– То ж Витька клал, – со спокойным достоинством поведал он.

– Витька! Я вам двоим деньги давала! Целых три тысячи! Да еще и по пять пачек папирос!

– Витька печку клал, а я огород копал, – вяло открещивался от делового сотрудничества Ленька.

– Огород он копал, за три тысячи рублей дерновины вывернул! – но Ленька был уже в нужнике, увильнув, схватившись за лопату, он с головой ушел в работу, раскидывая по развороченным грядкам чудодейственную землю. Григорьевна осталась на краю своего огорода в темной нетопленной бане, более того, затопить такую баню было совершенно невозможно, разве что спалить с горя. Широко расставив ноги в трениках с оттянутыми коленками, нависающих на резиновые сапоги с комьями холодной осенней грязи, Григорьевна вполне могла бы сойти за трагически одинокое пугало, если бы не чрезмерная для пугала полнота. Она еще покричала и помахала руками, но слушать ее было совершенно некому, даже ворона небрежно обронила свое «кар-р-р» и улетела.

Мысли в голову лезли большей частью матерные, однако Ленька был недосыгаем: живенько вычистив выгребную яму и раскидав содержимое по огороду, он исчез, испарился, оставив после себя глубокие следы и лопату. Григорьевна с тоской глядела на то, что в мыслях собиралась сегодня затопить. Выложенные Ленькой с Витькой вряд кирпичи без перехлеста при сооружении печки веером разошлись, исторгнув котел из нутра каменки. И за эту груды кирпичей, за рухнувшую на нее сверху в изнеможении трубу, за дыру в крыше Григорьевна заплатила три тысячи!

Печальнее всего, что даже под замком ту кучу на зиму оставлять никак нельзя: растащат по кирпичику и не один Ленька. Утешало то, что печку складывали по старинке, не на цементе, на глине. Значит, Григорьевне придется сейчас либо карячиться и таскать ведрами с берега мокрую глину, а затем класть печку с трубой, либо перетаскать все кирпичи в сарай или сени, где замки посерьезнее.

Никак не ожидала Григорьевна, что так все сложится. Утром дома в городе, в полной темноте, она растормошила внука в кровати, теплого, сонного, мягкого, безуспешно попыталась впихнуть в него завтрак, но, испугавшись, что опоздают, протащила за собой по улице вдоль домов с редкими освещенными окошками. На автостанции она купила льготные билеты, села в автобус, заткнула внуку Кольке рот чупиком и поехала по главной трассе страны, из пункта А в пункт В, как и промежуточный пункт С, увековеченные двести с лишним лет назад в сочинение господина Радищева.

Не заметив, как небо за окном автобуса из черного сделалось серым, Григорьевна проводила остекленевшими глазами уплывающие в туман за окном деревья с редкими застывшими в воздухе желтыми листьями, сонные покосившиеся полусгнившие хатки, оставшиеся в предсмертной предзимней убогой наготе, как шелуху сбросившие вокруг себя засохшие цветы в палисадах и поникшую ботву на грядках. Смирительность и безнадежность здешних мест чувствовались бы куда острее, если бы не процветающий придорожный бизнес, приветствующий всех проезжающих полощущимися на ветру флагами махровых полотенец взбодряющих окрасок преимущественно с голыми полногрудыми женщинами.

Григорьевна миновала не числившиеся в революционном творении Радищева указатели поселков Первомайский и Пролетарий, она почти уснула с открытыми глазами рядом с притихшим Колькой, очнувшись только когда автобус остановился. Поспешно схватив внука за руку, она пробралась к открытым дверям, вдохнувшим сырость и холод. Колька захныкал, Григорьевна утешала, что «щас» придет их другой автобус. «Щас» – это через час сорок пять. Когда Колька совсем свыкся с тяжестью положения, подошел автобус, «Пазик», как и во времена торжества развитого социализма.

Колька залез в автобус: там было так же сыро и холодно, как и на улице. Колька дрожал всем тельцем, то попадая, то не попадая в такт трясущемуся по грунтовой дороге автобусу. Поерзав и устроившись поудобнее в норке между теплой бабкиной рукой и круглым мягким животом, Колька повернулся к окошку: там был лес, если глядеть и в свое окошко, и в окошко напротив.

Сосны темно-рыжими мокрыми стволами то поднимались по пригоркам, то спускались вниз к такой же пропитанной влагой рыжей песчаной дороге. Мелкий бестелесный подлесок терялся на фоне сухой поникшей травы, сливаясь не то с туманом, не то с низкими тучами, распластавшимися по небу.

Но когда из тумана выплыла и опять уплыла черная гладь болота, утыканная гнилыми обрубками берез и сухими остовами елей, когда на краю этого болота явилось толстенное высокое дерево, не то недорубленное, не то недогрызанное, Григорьевна пояснила: «Бобры». Колька покрутил головой, но ни бобров, ни дерева уже не было.

Григорьевна молчала, уставившись в окошко, и Колька куда-то уставился, пока не показали огороды, а затем и избы деревни. Григорьевна, кряхтя, спустилась по ступенькам: «Дома

согреемся», – пообещала она выпрыгнувшему из автобуса Кольке. Но холод был везде. Он повис туманом над домами, втягивая редкие дымки из труб, он пробрался за калитку Григорьевны, которую она, гремя замками, никак не могла открыть, встретил в сенях, спрятался в одеялах, которыми был укутан Колька.

– Шас, шас, – суежилась Григорьевна с радиатором, с печкой, дровами, чайником. Когда Колька был принудительно накормлен, когда напился дымящегося чаю из блюдечка, когда засопел, согрелся и уснул с сушкой в кулаке, вот тогда Григорьевна позвонила на мобильный Леньке, чтоб нужник вычистил. Управившись с делами, пришла сама, посмотреть по-хозяйски каменку в бане. Увидела.

Колька спал в доме, Ленька исчез, а Григорьевна стояла у своего слегка покосившегося дома, частной собственности, которой владела единолично. То есть именно это и была ее «нефтяная скважина» и альпийское шале в одном флаконе: бывшая курятня, а ныне дровяной сарай, парник, дом в три окошка с двором, баня и огород.

В 90-х годах у них с мужем при разводе произошел передел собственности, приватизация...

Любила Григорьевна своего тщедушненького лейтенанта Сидорчука, ой как любила, не замечая ни кривых ног, ни острого кадыка, гуляющего вдоль длинной с гусиной кожей шеи, ни жирных угрей и прыщей. Правда, угри с прыщами скоро прошли, а сам Сидорчук становился все степеннее, росли и числом, и размером звезды на его погонах, росло брюхо, и в конце концов над этим округлым пружинистым брюхом под самое ребро ударил ему бес, крепко и наотмашь. Григорьевне достались внуки, а разлучница, кроме офицерской пенсии, получила все совершенно готовенькое: бордовый от выпивки пористый и мясистый нос, простатит и полный зад больных зубов, в смысле геморрой, по невообразимым физическим мукам вполне сравнимый с боевыми огнестрельными ранениями, но только не контузиями.

Впрочем, Григорьевна на отсутствие мужниных прелестей не жаловалась. Указав Сидорчуку с вещами на выход, она зажила одна в квартире не тихо, но размеренно. Дружила со всеми соседками и родней до седьмой воды на киселе, ходила и звала в гости по церковным и коммунистическим праздникам, наряжалась в цветастые платья, блистала золотом зубов и узловатых натруженных рук и по неписаной гарнизонной моде укладывала на голове взбитые пережженные волосы еврейской булкой-халой. В общем, любила пофорсить. Она и сюда приехала, залив волосы лаком, думала, после огорода снимет треники да к племяннице троюродной зайдет. Где ж ей знать, что вместо посиделок у племянницы с бутылочкой вина, купленной в универсаме по акции, будет тачка и груда кирпичей!

Управившись с кирпичами, кряхтя, перетаскав в сарай, она закидала их тряпьем и хламом, коего всегда было в предостаточном количестве. Далее Григорьевна подвезла пустую тачку к крыльцу. Вывернула ее у дома, вытряхнув песок, рыжие осколки кирпичей, рассыпую глину перед крыльцом, раскидала ее носком сапога и только потом завезла тачку в сарай и повесила на него замок. Сие действие должно было означать, что кирпичи в доме, а взлом дома более ответственная операция, чем взлом сарая.

Итак, кирпичи спрятаны, ложные следы выставлены напоказ, зато в крыше бани зияла дыра, и это в ноябре. Григорьевна поплелась к магазину искать мужиков, не успевших напиться. Таким условно трезвым оказался Витька, бывший столичный житель, но в далекие дни Московской олимпиады решением родной партии и правительства переселившийся в деревню.

Первым делом Витька отметил, что кирпичи в доме, а не в сарае, однако для верности все же спросил: – Кирпичи в дом перетаскала?

– Перетаскала.

– А чего не в сарай? – Витька доискивался до правды.

– Так в доме замки крепче. От таких умных, как ты, берегу.

– Ты че, Григорьевна, – Витька обиделся. – Я ж к тебе в дом никогда не лазал.

И, глядя печально сквозь дыру в крыше на небо, на низкие серые облака, послал Григорьевну за лестницей, потом за молотком, потом за гвоздями, за гвоздодером. Григорьевна так набегалась, что подумала: «Было б проще самой крышу оседлать, посылая Витьку то за одним, то за другим».

Вскоре крыша была залатана, что означало: течь она так и так будет, но не ручьем. Получив от Григорьевны то, за чем он шел в магазин, довольный Витька смылся.

И тут Григорьевна вспомнила о внуке: что-то подозрительно долго он спит.

Вовка действительно долго спал, так долго, что вспотел. Он выбрался на волю из-под тяжелых одеял, которыми был укутан. Сел. Скучно сделалось мгновенно. Когда пришла бабушка, он дорисовывал на русской печке десятый автобус. Автобусы выстроены были в ряд, хотя и не слишком стройный. Первым в ряду красовался самый большой автобус, за ним следовал чуть меньше, и так до десяти флагманы общественного транспорта украшали печку с двух сторон.

Бабка плюхнулась на стул прямо у входа: эту печку она собственноручно белила в конце лета, то есть чуть более двух месяцев назад. Как же она тогда упарилась! Сегодня, точно, все мужики против нее.

– Бабушка, правда, красиво? – Колька отвел от печки восхищенный взгляд.

Кольку хотелось выдрать, но Григорьевна слишком устала, и сил на порку не хватало. Она перевела взгляд с художеств на одухотворенное лицо внука, вспомнив, что в садике его хвалят по рисованию: – А что автобусы у тебя все одной краской выкрашены?

– Я потом, – автобусы Кольке надоели. Творению суждено быть неоконченным. Григорьевна вздохнула и засобиралась домой, на настоящий автобус, последний сегодня. Купленная по акции бутылка для племянницы уедет обратно вместе с Григорьевной. «Ничего, – думала она, – Сяду в автобус – отдохну».

И они сели в тот же «Пазик», что и утром, такой же холодный и раздолбанный, и поехали через мокрый пустынный лес, и глазели на те же печально-однообразные пейзажи, но с противоположной стороны, не видя в них никаких отличий, разве что сумерки стали сгущаться, превращая дорогу, обрамленную реденьким осенним лесом, в глухой коридор, в щель, идущую из ниоткуда в никуда.

Когда они подъезжали к болоту, светлеющему обломанными остовами берез, протыкающих черную глянцевую водную поверхность, раздался страшный треск. В свете желтых фар «Пазика» медленно появился падающий ствол дерева. Оно рухнуло поперек дороги, мощно содрогнувшись, отбросив голые ветви далеко в темноту. Грохот и удар о землю были настолько сильны, что мысль о засаде пронзила всех без исключения и шофера, и пассажиров.

Шофер Саня ударил по тормозам, мотор замер, замерло и дерево, на лес упала тишина, ни разбойничьего посвиста, ни автоматной очереди.

– Бобры, блин, – сплюнул Саня. Он не первый месяц поглядывал на толстенную обгрызанную осину на своем маршруте.

– Граждане, – он выглянул в салон, – может, у кого бензопила имеется?

Граждане, то есть большей частью гражданки далеко старше шестидесяти, в путь отправились без бензопил, причем поголовно.

– Приехали, – резюмировал Саня. – Обратно я не поеду, бензина нету. Кто хочет, идите пешком, тут через три километра свинокомплекс, там машину поймать можно. Еще Саня сказал, что деньги он не отдаст и, опять-таки, кто хочет, может в автобусе посидеть ночь, и еще, что радоваться надо, что дерево рухнуло не на автобус, расплющив его, как пустую пивную банку.

Старухи с охами повылезали из автобуса, кряхтя, перелезали с сумками через осину, белеющую объединенным концом на краю болота, и поплелись на свинокомплекс.

Им повезло, они встретили трактор, которому надо было по ту сторону осины. Как могли, они залезли в пустой кузов и, трясясь от холодного ветра и ухабов, в крошечной темноте доехали не только до свиного комплекса, но и дальше, почти до самой трассы, до которой дошли пешком, а затем еще до остановки других автобусов, чтобы наконец разъехаться по домам. И на всем пути Григорьевна, содрогаясь от мысли, что привезет родителям больного ребенка, говорила хныкающему Кольке «щас»...

Шофер Саня решил, что дерево – знак свыше. Сколько раз он, проезжая по маршруту, думал, что зайти надо к тетке Кате, пока не померла. И хотя она переписала свой дом на дочку и внучку, зайти все равно надо, положено.

Саня сдал назад, развернулся, доехал до развилки, свернув на еще более узкую извилистую дорогу, ведущую к теткиной деревне. Автобус вслепую катил по дороге, поворачивая то чуть вправо, то влево, пока в полной черноте не показались несколько разбросанных горящих окошек. Где-то был здесь теткин дом. В нем зажигалась одна жидкая лампочка, и загоралось сразу три окошка.

Саня остановил автобус, просунув руку в щель, открыл калитку. Дом у тетки, точнее дверь в сени, открывалась как у всех: как в «Красной Шапочке». Через аккуратно вытесанное отверстие в двери была продета веревка, привязанная с противоположной стороны двери к крючку.

Саня дернул за веревочку, дверь открылась, и он поднялся по ступеням в сени, рискуя свернуть в темноте ведра, тазы, лопаты, коромысла. Он постучал в дверь, ведущую в избу: тишина. Старуха была глуха. Саня дернул ручку двери, вошел. Старуха сидела на стуле посреди избы, просто сидела, сложив руки на коленях.

– Кто это? – удивилась она.

– Саня я, сын Веры.

– Саня? А ну, давай проходи, я на тебя посмотрю, – она оглядела его мутными желтыми с красными прожилками глазами, – Матка-то как?

– Да нормально, – Саня подвинул к себе табуретку с десятком облупившихся слоев краски. Сел рядом, от бабки пахло старостью, невымытым телом и нестиранным бельем.

Огляделся, все как раньше, будто и не уезжал. На стене мутное зеркало, отражающее домотканую дорожку, в углу закопченный Бог с погасшей лампадой, в раме под стеклом, засиженным мухами, вся родня, и та, что живая, и нет. Там и Санина карточка тоже есть. Не надо никаких альбомов или компьютеров, подошел к стене, полюбовался. Интересно, сколько Ирка за дом выручит, когда бабка помрет? Тьфу! Мысленно плюнул Саня, – гадость какая в голову лезет.

– А че приехал, случилось что?

– Да дерево упало, дорогу перегородило. Туда ехал, еще стояло, а обратно упало, перед самым автобусом.

– Это где у болота бобры подточили? – бабка о дереве знала, хотя и не была там с десятков лет.

Старуха принялась не спеша расспрашивать Саню, пройдя родственников до самой седьмой воды на киселе по первому кругу, а затем и по второму, и против часовой стрелки. Про себя поведала, что должна была в баню идти к Дуське Захаровой, да не пошла: в голове шумит и тошнит, сильно тошнит. Вот настряпала лепех, а есть некому. Выходит, Саня вовремя приехал.

– В печке они, доставай, и в банке с маслом перышко стоит, ты им каждую лепеху и помажь.

Саня резво вскочил, открыл заслон и из еще жаркого нутра печки вытащил противень с крупными бесформенными лепешками, покрытыми коричневой корочкой. Саня взял из заляпанной стеклянной банки перо, не то куриное, не то воронье, и принялся обильно смазывать

каждую лепешку постным маслом. А были эти лепешки ржаного теста с толченой картошкой и, конечно же, без намека на сметану, яйца или масло.

Саня налил себе в граненый стакан светло-желтого чая, и лепехи полетели в рот одна за другой.

– Ох, тетка Катя, в жизни таких вкусных не ел.

– Ну и хорошо. Спать-то у меня будешь?

Перед сном Саня сделал несколько звонков «кому надо», сказал, чтоб дерево распилили, иначе в парк не приедет.

Ближе к полудню Саню разбудил телефон, сообщали, что дерево распилили и ехать можно. Саня доел лепехи, попрощался со старухой.

– Свидимся ли? – она перекрестила его на дорогу.

«Нет, конечно», – беззвучно проговорил Саня и уже в сенях, отмечая старинные короба из бересты, бесхозные глиняные горшки, деревянные ушаты, подумал, что за них хорошо дадут на шоссе в лавках под названием «Антиквариат».

Саня выругался и плюнул уже по-настоящему. Отъезжая, он несколько раз бибикнул стоящей в окошке старухе.

Перед своим начальством на автобазе он предстал с такой глупейшей улыбкой, что создавалось впечатление, будто он сам в несколько приемов перегрыз передними зубами эту осину, чтоб на работу выйти с обеда.

Корова

Сейчас хозяйка даст ей сена. Вот сейчас, сейчас заскрипит низенькая дверца и ее толстенные некрашенные самопиленные доски, скрепленные неровными коваными скобами, обернутся коричневым драным дерматином с мохнатыми клочьями войлока, для тепла, и хозяйка, привычно наклонившись, переступит через высокий, сточившийся посередине порог.

Хозяйка остановится, передохнет и начнет спускаться по деревянным ступенькам. Она, держась рукой за струганные перила, ступает одной ногой вниз, затем рядом ставит другую и опять спускает вниз ногу. И так семь раз. Ступенек семь: дом поднят высоко, а хлев стоит на земле.

Потом хозяйка зашаркает по утопанному жирному земляному полу, и ее шумное свистящее дыхание с каждым шагом будет делаться все громче и громче. Она остановится у засаленной, затертой до лакировочного блеска дверцы, и когда повернет ее щеколду, заостренную лодочкой, грубо вырубленную топором крепкой мужской рукой, вот тогда она войдет и даст сена...

Корова замычала, позвала – но нет. Скрипнула половица или дверь, но за скрипом была тишина. Значит, это не хозяйка...

Бесшумно качается легкая паутинка на узком маленьком окошке, рассеивающем темноту, да торопливо бегают мыши.

Ожидание изнуряет. Корова чувствует только голод да тепло теленка, уткнувшегося ей в бок. Она засыпает. Опускаются веки с длинными загнутыми ресницами, и мерно дышит черный, мокрый, с редкими волосинками нос.

Она всегда была здесь, в этом хлеву; ну, может, не она, а другая или другие, тоже местной породы: не слишком молочной и не слишком мясной. И к ней заходила другая хозяйка или другие. И были они разных лет: и старая высохшая карга с редко торчащими желтыми зубами, и полнотелая баба в соку, и не очень, и совсем еще девчонка с косичкой. Но все они освобождали ее от теплого, пенящегося в подойнике молока, которое она несла в себе, когда пастух гнал ленивое сытое стадо вдоль деревни, когда она, мыча, задирала голову и в ее рогах замирало вечернее солнце.

Летом в хлеву слышался звук отбиваемой косы, зимой – раскалывающегося полена. Мужские, а значит чужие, руки развешивали на стенах конскую упряжь, высохшие за день на изгороди сети с картонными волосьями тины, высокие побуревшие берестяные короба с запахом грибов и осеннего леса, бабье лукошко с замотанной тряпичей ручкой и с раздавленными ягодами, прилипшими к днищу. И были эти руки и старые и узловатые, как корневища; и молодые, крепкие, с заусенцами, порезами и ссадинами; и трясущиеся от напряжения или самогонки.

Но прошло все, и остались теперь от той жизни только ржавые амбарные ключи да замки на бревенчатой стене. К сожалению, ни у одного из них нет пары, и не открыть теперь тот дом или хлев, сложенный не из бревен – из венцов.

И хотя рядом с коровой не хрюкают подслеповатые поросята, не блеют тонконогие овцы, не кудахтает наседка и не встряхивает гривой лошадь, зато на разлитое молоко во дворе каждую ночь летом топал, пыхтя, ежик и выпивал всю лужицу, а с осени по весну хозяйка гоняла метлой мышей и крыс всех мастей. В укромном месте они вили гнезда, а ближе к лету весь всем выводком уходили в поле – с тем, чтобы осенью вернуться к своей хозяйке. В их отсутствие ловили мух в свои гамачки паучки и каждодневно вслепую источали все деревянное жучки.

Но был еще тот, маленький, который скрипел половицами, гудел в трубе и бегал по чердаку. Он был, абсолютно точно: иначе кто там чавкал под полом и куда подевалась закатившаяся вареная картофелина, которую хозяйка, в числе прочих, хотела истолочь корове?

Вот скрипнула дверь, но это не он, не тот. Кто-то другой пришел к хозяйке. Вот этот «кто-то» поднимается в сенях по ступеням, открывает дверь в избу.

– Мама, да ты жива? Ох, да еще в луже, горюшко-то... Хватайся мне за шею, я тебя перетащу... Что «мы-мы-мы?» Никак тебе одной. А я не набегаюсь. Корову с теленком Андреевне отго-о-о-ню, хорошие деньги дает. Люди уже выпасают. Дай, я тебе ноги-то прикрою и таблетку дам.

И, навозившись в избе, хозяйкина дочь спустилась к корове, вывела ее на двор, полный тепла и птичьего весеннего ликования, в сердцах шепча: «Как о человеке убивается!»

И тут корове почудилась хозяйка: одна, на высокой никелированной кровати с некстати блестящими яркими солнцами шариками, глядя в нависший, клеенный белой бумагой потолок с грязными дождевыми разводами, с раздавленными комарами и мухами, она заливалась беззвучными слезами:

– И-и-и-и... Не об ей, не об ей...

И этот не то крик, не то вздох из пустого дома чудился корове, пока хозяйкина дочь гнала ее хворостиной в соседнюю деревню; пока загоняла в чужой хлев. И потому корова так долго не подпускала к себе ни ее, ни эту Андреевну.

А на завтра утром, когда неожиданно заголосило хриплое радио, дом накрылся глухой тишиной. Замер и перестал чавкать тот, кто живет под полом и топает по потолку. И осенью, вернувшись в холодный дом, крысы разбегутся по другим жилищам. Только паучки весной начнут вить новую паутину, да еще Барбоска с Васькой долго будут трусить привычной дорогой: один к хозяйке, другой – к дому.

Шарик

– Дедушка, ну улыбнитесь же! Ну пожалуйста... Вот вам шарик!

Дед оторвал взгляд от тротуара, от своих семенящих по асфальту растоптанных ботинок: оба и не на левую и уж тем более не на правую ногу. Взгляд деда уперся в клоуна с размалеванным помадой во всю ширину юного лица алым ртом: таким широченным, что в него попадали даже пухлые щеки. Цветастый дурацкий колпак; красный поролоновый нос картошкой; то полосатые, то в клетку и в цветочек штаны – в общем, все, как положено клоуну.

Дед не понял: откуда он взялся, здесь, в пяти минутах ходьбы от его дома по пути из аптеки? А клоун улыбался уже своим собственным ртом – тем, что был внутри нарисованного и старательно завозюканного помадой.

«Кто это: девочка или мальчик?» – подумал дед, но недодумал: забыл, переключившись на шарик, протянутый ему. Он был зеленый, круглый, с целлофановой блестящей веревочкой: очень скользкой веревочкой. Дед пошевелил негнушимися пальцами, но они не слушались его и никак не могли ухватить эту тонкую веревочку, а шарик тянул ее за собой в небо. Когда деду уд ал ось-таки ее закрепить хитрым манером вокруг пальца, оказалось, что никакого клоуна-то рядом и не было.

Девочка-мальчик уже убежал к другому прохожему, и тот стоял, как и дед, с шариком. Да и самих клоунов тут было несколько, и все как один – с нарисованными улыбками и носами картошкой. Поди тут разбери, который подарил ему шарик. Да это и не нужно! Совсем не нужно! Ведь от этого пустячка ему сделалось светло. «Да, именно светло!» – он так и подумал.

Вот ведь как бывает: пошел с утра в аптеку не по этой дороге, по другой. За слабительным шел, но не за таким, как сейчас говорят, экстремальным, когда вдруг насторожишься, замрешь и бежишь себе со всех ног, громко стуча шлепанцами о пол, бормоча: «Господи, господи, господи...», а за мягким пошел. А когда купил, вот тебе раз: он обвел взглядом вокруг себя – тут настоящий праздник. Сколько тут детей – и все танцуют!

На мелких стариковских ресницах деда повисла слезина: весна, детишки, а главное все вокруг буквально пестрело детскими рисунками: и тротуары, и высокий дощатый забор вокруг сквера.

На заборе висел плакат: «Конкурс детского рисунка». А как тут выбрать лучший? Ведь это не рисунки – миры, и все счастливые, светлые. Да и содержание всех было примерно одинаковым: мама, папа, Я, солнышко, цветочки, деревья, шарики... Иногда, правда, встречались любимый кот или собака – счастливы ведь все одинаково, если перефразировать Льва Николаевича.

Но все же лучший из миров выбрали. Девочка, его нарисовавшая, смущенно прижималась к маме и улыбалась в ожидании чуда. Дед присел, опираясь на коленки, пригляделся к ней: да, парочки зубов у нее все же не хватало; у девочки, разумеется. И у деда не было зубов, и не двух, а поболее, но это уже совсем другая история. Слезина, висевшая на кончике ресниц, медленно выкатилась, и за ней покатилась другая.

В подарок девочка получила новенький блестящий велосипед; еще кто-то получил самокат, а дальше дед уже не помнил. Сгорбленный, расчувствованно шмыгая носом, он засеменял домой: в кармане слабительное, в руке – шарик, на душе – праздник.

За действием в сторонке наблюдал сверкающий черный джип заморской марки. Когда дед переходил дорогу, джип, уже тронувшись с места, царственно пропустил его вперед, величаво, как лев: беги себе, мышка, в свою норку. И дед побежал, а когда к самому дому подходил, вспомнил про цветочек.

– Ах! – дед хлопнул себя по лбу и повернул обратно. Он совсем забыл про цветочек. На теплотрассе, пригревшись у южной стороны дома, выросли первые одуванчики.

Мамочка, так он называл жену, его теперь не выходит, вот он и приносит ей то веточку с набухшими почками, то мать-и-мачеху, а вот теперь пришло время одуванчиков.

Легко сказать: сорву одуванчик. Прошлый раз ему мать-и-мачеху сорвал гуляющий с мамой ребенок; сорвал своей пухленькой ручкой и протянул деду, который, помнится, опять прослезился. Но сейчас вокруг никого не было; да-да, все на празднике. Дед переминался с ноги на ногу. Кряхтя, он принялся в несколько этапов опускаться, не удержался и бухнулся на коленки, как перед идиолом, а кепка упала и покатилась. Но все же он и цветочек сорвал, да и кепку поднял, а вот самому подняться было куда сложнее. Но и это ему удалось сделать. Он, отряхнув грязь с коленок, второй раз пошел к дому. В одной руке шарик, в другой – цветочек...

– Здравствуй, Михалыч! – Баба вроде знакомая; вроде из их дома, а Михалыч – это он: кандидат технических наук в эпоху торжества исторического материализма.

– Старуха-то твоя живая? Че-то я ее давно не видела...

– Живая...

– А, ну тогда привет ей передавай. – И баба заковыляла вразвалку прочь на полукруглых кривых ногах.

– Мамочка, я тебе одуванчик принес, уже появились первые. – Он полез целоваться к «мамочке», полулежавшей на диване, уткнулся в нее носом.

– Да уймись ты, всю обслонявил... – Она отмахнулась. – А шарик зачем?

– Шарик мне подарили, – гордо сообщил дед, а когда разжал затекшие побледневшие пальцы, тот, высвободившись, приклеился к потолку. Слюдяная веревочка болталась так, что «мамочка» при желании могла ухватить ее и поиграть с шариком.

– Ценный подарок! – Желания поиграть с шариком у нее не возникало.

– Там для детей конкурс на лучший рисунок, праздник. Эх, если бы я только смог на корточках опуститься, я бы им выдал! – Дед все еще пытался развеселить свою старуху, с распухшими коленями едва передвигающуюся от дивана к стулу, от стула к окошку, – и никаких новостей. Сам-то он ощущал себя свидетелем ого-го каких событий!

– Что за праздник?

– Да не знаю, как-то не подумал...

– А где?

– Да за углом.

– Вон оно что... Это, значит, и сквер вырубят, и дом построят, а нам зато праздник...

– Э-эх, какая ты все же раздраженная! А просто так у тебя для детей уже ничего не могут сделать?

– Эти не смогут. Детям – праздник, тебе – шарик, себе – миллионные барыши.

– Зачем ты сама себя расстраиваешь? Ведь они, как землетрясение или цунами, – бедствие. Бессмысленно на него сердиться:

раздавят и не заметят. – Дед вздохнул, понуро поплелся на кухню и налил водки в пахнущую корвалолом заляпанную рюмку советского периода.

«Как же это грустно, – думала старуха, глядя на свои бесформенные ноги в обмотках, – когда тело становится такой обузой душе, что уже не ощутить больше на щеке тепло заходящего солнца... Не увидеть и как переходит дорожку жук или муравей; как ветер клонит одну травинку за другой над воспарившим ситцевым облачком простеньких цветочков... Или просто как сухие золотистые желуди, падая, увлекают за собой целый град...»

Старуха закуталась сначала в шаль, потом – в плед и приоткрыла окошко. На подоконнике в одном стакане с водой стоял одуванчик, в другом лежали зубы деда – для выхода в свет, в данном случае в аптеку, и известно за чем. Дома дед зубы не носил: казалось ему, что он их вот-вот проглотит, закашляется, задохнется и умрет.

Сейчас старуха насыплет крошек на подоконник; прилетят птички, воробьи, будут их клевать, а самые смелые из них – даже выковыривать растрескавшуюся шпатлевку.

Из-за мутного стекла на нее глядел все тот же двор и все тот же маленький магазинчик в подвальчике с вывеской «Планета Секонд хэнд».

Когда меня не было

Прибытие поезда

Она не приехала. Это он понял совершенно точно, глядя исподлобья на опустевший перрон. Несмотря на то что он пришел сюда самым первым, ожидая, что среди бесконечноразнообразных суесящихся чужих, растущих числом, вдруг явится она. Но нет, даже когда из вагона высыпала целая толпа, когда появилась надежда, что он не заметил, пропустил ее. Но перрон пустел, а ее все так же не было. А если все эти тетki с кошелками и дядьки с мешками увлекли ее за собой и, спохватившись, она вот-вот вернется к нему, прибежит, окликнет, его – самого-самого!

Следующего поезда ждать мальчик не стал: и так уже послушался бабушку и не сразу вернулся, а она утром больно ударила его по попе и наказала. За что, он не помнил. Непонятно: рука у бабушки – мягкая и морщинистая, а вот попе больно. А главное, скучно стало ужасно. Тогда он поднялся по ступеням веранды, высоко задирая ноги, но бабушка уже, раскачиваясь, спустилась во двор с тазом, со скрученными баранками мокрого белья. Мальчик уселся на некрашеное крыльцо и, подперев голову руками, уставился на рассохшуюся ступеньку: между глазками спиленных сучков и беспорядочными продольными трещинками, казалось, ждущих только своего клина, чтобы захлопнуться, осторожно, на высоких цыпочках гуляла тщедушная косиножка.

Рыжую вмятину с доньшком шершавой шляпки гвоздя мальчик сперва потер голый пяткой, потом поковырял пальцем, самым толстым, с прямоугольным ногтем, стоящим поодаль, но сгибающимся вместе с четырьмя другими, выстроившимися по убыванию до самого младшего, скукоженного, скрюченного. Этот палец никак не хотел шевелиться, хотя под него забрался песок, даже выставив вперед ногу, даже если крутишь коленом. Тогда-то он и решил встречать маму сам.

А бабушка тем временем развешивала белые полотнища простыней, снимая со своего ожерелья бусину – прищепку. И когда все они перекочевали на простыни, пододеяльники и полотенца, поверх бабушкиного, застиранного до пушистой бахромы фартука болталась одна веревка.

– Нет, рано еще, – поучительно отрезала бабушка, но тут же отпустила, снабдив столькими наставлениями, скольких хватило бы даже для двухнедельного марша. Когда мальчик оглянулся, за калиткой, на пустом дворе колыхались на ветру паруса простыней, надувшиеся под солнцем океанскими гротмарселями, развеивая невидимые, пахнущие теплым мылом капли. А под парусами росла зеленая трава, и никуда двор не уплывал – уходил мальчик.

Далеко он не ушел: путь преградила тети-Машина коза! Тропинка проходила под самым ее брюхом, между передними и задними ногами, как под мостом. Коза вынула морду из травы и посмотрела на мальчика, потрясла кривыми с зазубринами рогами. Издевательски ухмыляясь, коза задвигала нижней челюстью, под которой болталась борода – козлиная, естественно.

Лапочкой котик моет свой ротик,
А козлик упрямо трясет бородою...

Всласть потешившись над мальчиком, коза отошла в сторону, и тот твердой поступью направился к станции.

Из-под ног у него выпрыгивали коричневые и зеленые кузнечики и по дуге устремлялись так далеко, что мальчику надо было сделать несколько шагов, чтобы их настичь. А как

только он приближался к ним, оттолкнувшись голенастыми, торчащими за спиной ножками, они летели еще дальше – куда угодно, но только не к станции. Вот они уже, вытянув свои длинные хитиновые конечности, раскачивались на упругих травинках или ныряли в их дебри, оглушая воздух сухим знойным треском.

Зато дорога обратно была совершенно неинтересной, несмотря на поднимающуюся в восходящем зыбко-жарком воздухе пушинку, и распахнутое окошко с томно соскользнувшей в сад кружевной занавеской, за которой невидимый старушечий голос произнес: «Она совершенно другого плана...». Она... Кто «она» и когда была в этом саду, затененном дикими корявыми яблонями, заросшим синими свечками люпинов? И отчего вздрогнула ветка шиповника? Он не увидел причину, предшествующую движению, как и разбегающимся кругам по вязкой зеленой воде канавы.

– Бабушка, кто там живет?

Но бабушка уже поставила перед ним дымящуюся тарелку со щами и сказала: «Ешь!»

– Ну, бабушка, я совсем не хочу! – Он то тоскливо поднимал ложку с безвольно повисшими прозрачными усами вываренной капусты, то тер ладонями отяжелевшие слипающиеся глаза.

По столу ползали, огибая тарелку, мухи, и бабочка-капустница иступленно-побледневшими крылышками, пытаясь пробить прозрачную твердь окна, каждым новым движением к свободе приближала свою гибель.

Когда суп остыл и стал совершенно несъедобным, бабушка уговорила его съесть несколько ложек «за папу, за маму...». Обнадеженная бабушка попыталась вспомнить всю «большую ектинию», но ей пришлось унести такую же полную тарелку, как она принесла.

– Бабушка, – канючил мальчик. – Ну можно гулять? – А она дала ему кружку с ягодами.

– Ну, бабушка, ну чего тебе стоит, – ныл мальчик, запуская все глубже руку в кружку. – Ну, пожалуйста...

Солнце палило нещадно, бабушка гремела посудой.

– Бабушка, а бабушка! – Кружка была пуста.

– Катись к шутам! – Бабушка махнула рукой, когда за кольями забора, перебивая бурьян, замелькала тощая фигурка соседского Витьки.

На реке они поволокли его лодку, шкрябая брюхом по песку, сухому, прибрежному, затем пропитанному водой, донному, разгоняя стайки зеленовато-прозрачных рыбок. На ходу впрыгнули и, гребя каждый своим веслом, пошли вдоль волнующейся зеленой лужайки ряски, где пушистые, еще не научившиеся толком крякать утята оставляли темные ленты водяных следов.

Там, где к воде свисали ветви застывших в своем падении, уцепившихся корнями за берег черемух, где среди буйства зеленых и бурых листьев гомонящие птицы расточительно роняли черные капли ягод, пробивающих дождем толщу торфяной воды и застывающих в вязком холодном иле, мальчики драли висевшие вкруг их голов гроздьи и, стоя в вертлявой лодке, шурились от выглядывающих из-за листьев лучей двух солнц: одного – плывущего по небу, другого – по воде.

Они высовывали друг перед другом языки, скованные сладкой вязкостью, соревнуясь в чумазости, споря тонюсенькими мальчишечьими голосами и уверенный каждый в своей победе. А потом опять засовывали в почерневший рот с редкими коричневыми зубами пригоршины ягод с ребристой косточкой, гоняя по воде рваные тени ветвей.

– К...ереіу пора! – Мальчики обернулись: кричала бабушка – звала встречать маму. Под ее нескончаемые крики есть черемуху было совершенно невозможно.

По дороге на станцию никакой козы он не встретил, и окошко в заросшем саду закрыто было наглухо. Он постоял немного, поправил натиравшую резинку штанов, почесал ногой под коленкой, куда его укусил комар и где теперь розовел зудевший волдырь, но тропинка к дому терялась в высокой траве, никем не мятой, некошеной, торчащей из щелей крыльца, продав-

ленного чьей-то незримой ногой. Может, ему все приснилось в жаркий полдень, когда он водил ложкой в супе?

Мальчик вспомнил про маму и побежал. На станцию он прибыл вместе с поездом и сразу в окошке вагона выглядел любимое платье.

А когда поезд обрушил на голову мальчика, стоящего почти у самых его гигантских колес, дым, пар, сипение, грохот, тогда он решил, что непременно вырастет большим и уж тогда-то точно каждый день будет кататься на паровозе!

И он уже видел себя в деревянном вагоне, затем в окне самого паровоза Су 205-05 или Су 207-13. Он знал их всех по номерам и даже гудкам. На мальчике – голубая трикотажная майка с оттянутыми подмышками, сурово всматриваясь вдаль, он, может быть, даже, как и его дядька с пышными, лихо закрученными вверх усами, но почему-то с мясистым, неведь откуда внезапно выросшим красным носом.

Это была его самая заветная мечта, самая-самая. Я знаю о том совершенно точно потому, что этим мальчиком был мой отец.

Она

– Ти-и-я-ты-р-р-р!

Звонкая сорочья трель, упруго отскочив от выстроившихся в линию за окном домов, раздвоилась, раскололась надвое, разлетелась в противоположные концы улицы, в бесконечность, и не вернулась, пропала.

Девочка поспешно, привстав на цыпочках, захлопнула одну за другой высокие квадратные форточки, с грохотом прыгнула с подоконника на заскрипевший паркет, она дернула за занавески, пустив их друг на друга, внахлест, зажав их концы кулаками, прощелкав деревяшками колец карниза где-то далеко под потолком. Спряталась!

Но постепенно любопытство пересилило страх. Когда ветер выдавил плохо закрытую форточку и постучал ее массивною латунною задвижкой о другую, девочка, пересилив страх, вцепившись в половинки занавесок, просунула между ними одну только голову. За ледяными перьями, облепившими стекло, медленно исчезала длинная зимняя ночь, вползая в чрево тесно прижавшихся друг к другу, как от озноба, домов, в глубину их гулких темных подворотен; туда, куда дворник Рустам сваливал покрытые снежной крошкой дрова.

Нет, некому было слышать ни хлопка форточки, ни звона стекла бросившимся вдогонку за вырвавшимся из груди криком: улица пуста и сонна, окна слепли, свет тускнел.

«Тятырр» или «тятыррр»... Непривычное и новое слово, взрослое слово. Произносилось оно как получалось и каждый раз по-разному, но девочку это ни капельки не смущало.

Она, оставив в покое занавески и запутавшийся в них уличный холод, оказалась в ярко освещенной комнате, большой-пребольшой, и если скакать от дивана до громады резного буфета... Но мама уже поймала ее и расчесывала волосы.

Мама бережно, едва касаясь пальцами, проводила расческой по самым кончикам спускающихся ниже плеч волос, затем поднималась выше, выше. И вот уже гребень скользит по голове, и блестящие, старательно вымытые накануне волосы с сухим треском рассыпаются вее-ром и вновь собираются и зачесываются на лицо, спрятав девочку, как в густом лесу.

И только теплое отраженное дыхание да полосатые просветы, сквозь которые видны мамина рука, тусклая бронза подсвечников на фортепиано, часы на стене, монотонно раскачивающие диск маятника с сектором блика, – все говорило о том, что это фантазии, игра, нежданно зародившаяся и так же неожиданно оборвавшаяся движением маминих пальцев, когда она, сделав прямой пробор, распахнула волосы, точно занавес, с улыбкой обнаружив за ними лампочки преданных дочкиных глаз.

Затем, сопровождаемая восхищенным взглядом, мама взяла стоящую на трюмо и выложенную внутри складками атласного шелка пахнущую коробочку с духами, вынула из нее флакон и стеклянной, притертой до матового хруста пробочкой провела в ложбинке между ключицами, за мочками ушей, блестящих золотом и аметистами, с каждым движением все глубже погружаясь в аромат нескончаемых праздников.

А в мягкую, расшитую тусклыми жемчужинами бисера сумочку, рядом с кружевным платочком, были опущены несколько конфет, шуршащих зеркальной фольгой и разноцветными фантиками. Там же оказался и заморский мандарин. Но прежде чем закрыть сумочку, со звоном шелкнув круглыми шариками замочка, там исчез выложенный розовыми перламутровыми пластинами театральный бинокль.

А когда над заиндевелым от мороза городом низко всплыло большое розовое солнце, выдохнутое клубами ледяного пара, повисшего мохнатым инеем на хлопающих ресницах, девочка с мамой шли по утопанному снегу к трамвайной остановке. Но если мамыны звонкие шаги на снегу оставляли круглые дырочки каблучков, то мохнатые серые валенки девочки ступали мягко, точно лапы зверька, и сколько не оборачивайся – следы не увидишь.

На остановке мама говорила, что их трамвай легко отличить даже ночью: одна лампочка у него одного цвета, а вторая – какого-то другого... Девочка видела себя ночью, в метель, совсем одну и в надвигающейся из темноты и снега громаде трамвая она искала и не находила лампочки нужного цвета.

Но метель исчезла, и деревянный, застывший до хруста вагон, звеня и высекая из проводов электрические искры, повез девочку мимо незнакомых домов, не вмещающихся в мокрую круглую дырку, растопленную пальцем на обледенелом, желтом от солнца окне.

Дырку пришлось послушно оставить и забыть, потому что мама, придерживая девочку за шиворот, вывела ее у здания театра, широко раскинувшегося на площади, огромного, как цирк, только голубого, а не желтого.

Вот мама ведет ее в гардероб. Там она сняла фетровые боты, гладкую блестящую котиковую шубу, потертую на рукавах, которую девочка так часто благоговейно гладила одна в темной передней, замирая от запаха духов и мороза, от ощущения неземной красоты.

Мама развязала тесемку, подтягивающую ее длинное платье, чтобы оно не выглядывало из-под шубы. В вечернем платье, в туфлях на каблуках, она стала вдруг неразлично похожа на других дам: нарядных, возбужденных, многократно умноженных зеркалами в резных тяжелых рамах, из которых они порой выглядывали кокетливо вполоборота, а затем исчезали, оставляя лишь пустую стену напротив.

И, глядя на незнакомые лица и забывая их, увлекаемая струящимися тающими шлейфами запахов, пересекая при своем движении тут же смыкающиеся за их спинами незримые нити чьих-то разговоров, не дождавшись ответа на обрывок фразы, не обернувшись на звонкий смех, на задержавшийся взгляд, вспышку белков глаз из глубины полукруга галереи, уходящей за раму зеркала, девочка оказалась на самом дне голубой, с золотом, чаши зрительного зала, внезапно выросшего из макета за стеклом в фойе, заполнившегося движущимися людьми, светом и звуками.

На нее обрушилась целая какофония их: неведомых, исторгаемых снизу, из оркестровой ямы, бьющих вверх к голубому небу плафона, к желтому солнцу люстры, сверкающему хрустальными виноградинами. Казалось, музыканты, подвластные всеобщему правящему здесь радостному хаосу, вмиг разучились играть и позабыли ноты. Они изо всех сил дудели, шумели, барабанили на фоне контрастно звучащих под белыми смычками струн: «Ре-ля, ре-ля, ре-соль, ре-соль, ре-соль-до...».

Мама, наклоняясь, что-то говорила ей, но она не слушала ее и не хотела слушать, а тут еще труба, вопреки разноголосому гомону, вывела: «Сердце, как хорошо, что ты такое...». Модная песенка, девочка засмеялась.

А в антракте она пила из тонкого стакана такую вкусную воду вишневого цвета!

– Как тебе спектакль? – спросила ее мама, долго улыбаясь скрипу снега под ногами.

– За-а-а-мечательный! – наконец-то она вспомнила это новое слово!

Урок китайского, или Военная тайна

Совсем скоро закричит сова: как только солнце закатится куда-то вбок, волоча за собою, как сети, удлиняющиеся при своем движении тени. Когда, распластав их на траве – ненужные, брошенные, – оно исчезнет под малиновой полосой неба в лесу, тогда, повинувшись тысячекратной привычке, растягиваются разномастные деревенские шавки, находящиеся между собой в сотни раз перекрестном родстве.

Однако и они – одна вслед за другой – замрут до наступления темноты и с чувством выполненного долга спокойно уснут: кто в собственной конуре, кто прямо посреди двора, на вытопанной траве, поскуливая и подпрыгивая во сне лапами. И сон их не омрачит никакой грабитель-супостат; разве что поутру хозяйка, баба с пустым позвякивающим ведром, не пойдет доить козу или корову. Не поведет псина во сне чутким мохнатым ухом, потому как братья в насквозь пропитом доме ее хозяина совершенно нечего – если только чекушку, спрятанную на черный день и до сих пор, несмотря на все старания, не найденную.

И только когда все стихнет и с небес тихо спустится ночь, тогда, сидя на косматой еловой лапе, хлопая под клокастыми бровями, буравящими темноту круглыми глазами, сова скажет свое:

– Угу-

Однако пока она молчит в лесу за рекой: ей еще рано. Светло, но уже устраивается поудобнее на сухом суку перед сном аист, переставший шлепать по отмелям в поисках лягушек, и расчирикались ласточки, вытянувшись в ряд на проводах.

...Я, умиляясь гармонии природы, гляжу на притихшую реку, сидя рядом с домом под дубом. При этом с грустью вспоминаю Ивана Андреевича Крылова: мой вес близок к трехзначной цифре, а потому мужчины при виде меня выворачивают шеи в противоположном направлении. Но душа у меня прекрасная, тонкая. Об этом знаю только я и тот, кто на небесах, а потому, вооружившись самоучителем по китайской живописи, особой тушью (брусом, который надо растирать с водой), а также торшеном, за неимением рисовой бумаги, я представляю, как под моей рукой на лист ложатся легкие дымчатые туманы, пенятся водопады, гуляют цапли в шелестящем тростнике, а на изогнутом мосту дождь поливает путника с шишковатой прической.

Китайский художник пишет сердцем. Вот и я всем своим истосковавшимся сердцем гляжу на северо-западную речку перед собой, представляя дивные китайские виды на листе...

– Можно к вам на качели? Мне скучно...

«Люська, – подумала я, и тут же осеклась: это ее сын. – Как быстро летит время!» Хотя голос у ее сына в точности, как у Люськи; впрочем, как и круглые уши. Такой вот у них от покойника-прадеда «переходящий вымпел».

– Как же ты похож на маму!

– Да, у меня все мамкино, – ответил, раскачивался на качелях, мальчуган.

– И нос?

– Да, и нос.

– И уши?

– Да, и уши. – Он явно гордился прадедушкиным наследством.

– Но пятки-то, наверно, папкины?

– Нет, пятки мои, – вскричал малыш. – У папки пятки – шершавые и желтые: у него грибок. Ой, это секрет!

Китайские мазки вдохновенно ложились на лист один за другим.

– Хочешь, я тебе картинку подарю?

Он скосил взгляд на бумагу:

– Еще чего!

Обидел.

– А сам ты рисуешь?

– Я только машины рисую.

– Какие? – Мне явно скучно. Легкая китайская живопись, несмотря на доходчивость изложения в книжке, явно пробуксовывает, и шестилетний мальчуган у меня ассоциируется с кем-то вроде клоуна.

– Да всякие рисую, с фарами.

– А у вас какая машина?

– «Жигуль». Папка кричит: «Моя машина...» Ой, я, кажется, опять секрет сказал. Мама мне говорит: «Все, что про папку, – это секрет!»

– Да нет, никакой секрет ты не сказал.

Успокоенный мальчуган принялся раскачиваться быстрее.

Ну что же это такое! Передо мной – дивной красоты северная природа, книжка раскрыта на нужной странице: с дышащим тончайшими нюансами цвета и света китайским пейзажем. Ее автор все по пунктам расписывает, душа у меня поет и свободно летит за эхом по глади воды к лесу... А на бумаге выходит просто форменное безобразие! И если китайский художник пишет сердцем, то мое, получается, молчит.

– Ты с кем сюда приехал?

– С дедушкой, бабушкой и мамой. Мамка кричит папке: «Убирайся, козел прокля...» – Ой... Это опять секрет. – Внезапно расстроенный парень даже слез с качелей и рассматривал мой шедевр. Там было все: и китайский водопад, и дуб, и даже елка, и тростник с аистом – в общем, русско-китайский компот: сплав культур, так сказать.

– А почему у козла нет рогов?

– Вообще-то это лисица. – Я еще хотела добавить, что это тема популярна у восточных художников, но он меня опередил:

– А вы нарисуйте ей рога и будет козел!

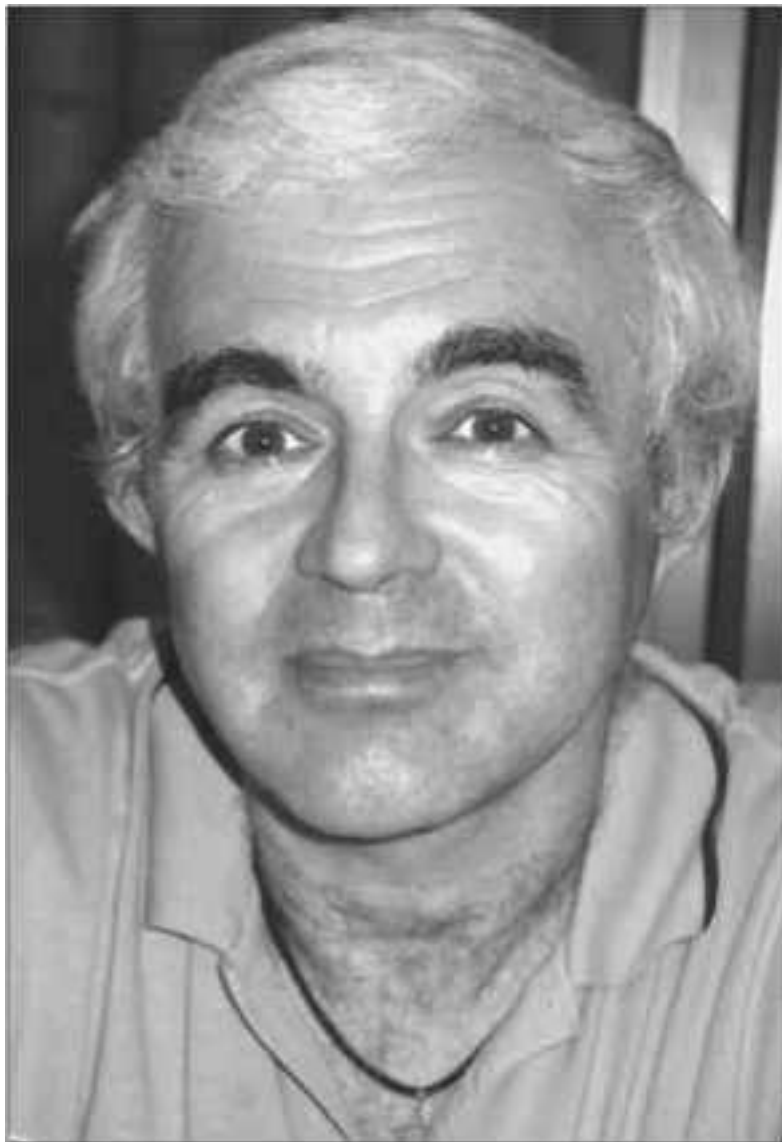
Лисице были подрисованы рога, и даже веревка теперь вилась от ее шеи к дубу – золотая веревка.

Картинку с козлом ученым мальчик попросил себе: почувствовал в ней что-то родное.

Может, и я, как китайские художники, рисую сердцем?



Борис Суслович Израиль, г. Холон



Борис Зиновьевич Суслович родился в 1955 году в Днепропетровске, закончил мехмат ДГУ, программист. С 1990 года живет в Израиле. Пишет много лет. Стихи и проза публиковались в журналах «Новая Юность», «Крещатик», «Семь искусств», на порталах «Точка зрения» и «45-я параллель».

© Суслович Б., 2015

«Как это происходит? Среди бела дня или глубокой ночью в тебя, как заноза, вбивается строка. Ты крутишься, как ужо на сковородке, пытаешься от нее отделаться, но она тянет тебя за собой. Ты несешься по своей жизни, нигде не задерживаясь, от давно забытого детства до стремительно приближающейся старости. Хищный ветер пробирается насквозь, миги наслаиваются друг на друга, а единственный хлипкий якорек – зажатый в руке карандаш, которым ты пытаешься набросать координаты точки, в которой оказался. По ним ты еще многожды придешь сюда, прибирая и упорядочивая найденное место, пока, бросив прощаль-

ный взгляд на дружелюбный пейзаж, не покинешь его. В ожидание нового толчка, уносящего в неизвестность».

Царскосельский вокзал

*Казалось —
проходим усталым
Бредешь в направлении вокзала.*

*Вокзал.
Измотавший все силы,
Бредешь в направлении могилы.*

*Могила.
Счастливчик: теперь ты
Бредешь в направлении бессмертья.*

*Бессмертье.
Его не хватало
На скользких ступеньках вокзала...*

*Далеко зашел ты,
Паровик усталый!
Доски бледно-желты,
Серебристо-желты,
И налип на шпалы
Иней мертво-талый.
Уж туда ль зашел ты,
Паровик усталый?*

1906

Прощение

В своих апартаментах министр просвещения Шварц, благообразный седой старик, принимал попечителя петербургского округа Мусина-Пушкина. Попечитель, весьма самоуверенный пожилой господин, держался с хозяином кабинета почти на равных.

— Александр Николаевич, если бы Вы знали, до чего с ним тяжело! По любому пустяку имеет особое мнение. Конечно, он и Еврипида переводит, и книги о литературе издает, и оригинальные стихи пишет. Будто мы лаптем щи хлебаем... И каков фон-барон: ему частичную отставку подавай, хочет еще лекции читать и в Ученом комитете красоваться! Нет уж, отставка так отставка, без разных финтифлюшек...

— Да Вы не волнуйтесь так, Александр Алексеевич! Я с Вами вполне согласен. У Анненского с сердчишком проблемы, так что мы о нем же заботимся. *Bona fide!*¹ Потрудитесь подготовить приказ. А я распоряжусь.

— Благодарствую, Ваше превосходительство. Завтра изволите принять?

— Уже с приказом?

— Разумеется.

— Отлично, граф. Жду.

¹ *Bona fide!* — вполне искренне (лат.).

Ученик

Промозглым ноябрьским утром в небольшом особняке, каковых немало на тихих улицах Царского Села, беседовали двое: импозантный дружелюбный хозяин с бледным, чуть отечным лицом и гость – совсем молодой, почти юноша. Лицо второго, маловыразительное, с неправильными мягкими линиями, обладало странной особенностью: посреди разговора оно неожиданно «собиралось», расплывчатые черты приобретали строгость и красоту.

– Ну что Вы, Коля, разве можно так переживать из-за того, что Ваши стихи кому-то не нравятся? Вспомните, как эта самая Гиппиус отнеслась к Вам в Париже... Вы же прекрасно понимаете: поэтом нельзя сделаться, эта болячка сидит в нас от рождения. Пишите и пишите: то, что внутри, обязательно выплеснется.

– Иннокентий Федорович, может, я просто неудачник? Даже аттестат позже всех получил, другие уже университеты заканчивают. А за что Зинаида Николаевна на меня взъелась, просто не постигаю. В Париже в три шеи вытолкала. Да и сейчас... Будто у нее есть право решать, кто для чего предназначен.

– Вот именно. Поймите, мальчик мой, это свойство недалеких, поверхностных натур: целиком доверяться первому впечатлению, с легкостью ставить на человеке крест. А *homo cogitans*² сомневается в себе постоянно. В своих мыслях, оценках, чувствах... Гиппиус и как поэтесса весьма ограничена. Жаль, что среди пишущей братии до сих пор не было ни одной великой женщины.

Анненский внезапно замолчал. Медленно встал, сделал несколько неглубоких вдохов, прислушиваясь к чему-то внутри себя. Потом так же резко вернулся к собеседнику.

– Простите великодушно. Вот я сейчас Вас успокаиваю, а сам? Думаете, легко сознавать, что жизнь почти прожита, а стихи никому не нужны, переводы где-то лежат-пылятся. Об остальном и говорить нечего: смотрят, как на клоуна. Что это господин бывший директор статьи о литературе кропает на старости лет?

– Иннокентий Федорович, – Гумилев будто отбросил привычное косноязычие, заговорил твердо и четко, – Ваши стихи мне необычайно дороги. Тот, кто судит о Вас свысока, мало что смыслит в поэзии. Ничего не смыслит.

– Вот видите, Николая, для меня Вы сразу нашли слова утешения. А для самого себя, что, кишка тонка? – Анненский широко улыбнулся, сразу став гораздо моложе. – Поверьте, время все расставит по своим местам. Дождаться бы только этого времени...

Жена

Анненскому нездоровилось. Последний месяц сердце беспокоило как-то по-иному: неожиданнее, острее. Приходилось ложиться в постель и ждать, пока боль отпустит. Он не терпел этого вынужденного нелепого безделья. Ему всегда казалось, что с собственным сердцем можно договориться, убажить его, что ли. Долгие годы почти так и происходило. Когда перевалило за пятьдесят, он даже стал немножко вольнее себя вести. Иногда позволял себе переживания, которых старательно избегал в молодости. Вот и сейчас, наверное, переусердствовал.

– Болит, Кенечка? Может быть, еще капель? Или доктора?

– Незачем, Дина. Полежу немного, сейчас пройдет. Кажется, уже легче.

Жена действительно беспокоилась о нем. И очень хотела показать, что может быть полезна.

² *Homō cōgitāns* — человек мыслящий (лат.).

Когда они познакомились, он, двадцатидвухлетний студент, влюбился без памяти. Дине было тридцать шесть, бедняжка овдовела, когда сама была не намного старше своего юного уха-жера. Она была красива. Очень. Нежная женщина, в одночасье лишившаяся любимого мужа и сама вырастившая прекрасных сыновей, с которыми он сразу подружился (благо разница в возрасте была невелика, куда меньше, чем с их мамой), просто околдовала его. Он чуть ли не с первой встречи мечтал о женитьбе. И вскоре сделал предложение.

К счастью, она согласилась. Хотя Иннокентий вызывал немалые опасения. Молодостью, горячностью, детской восторженностью. Дина не хотела выходить замуж за полуребенка. Свадьбу отложили на два года: жених полагал, что напрасно. Они обвенчались, едва Анненский получил диплом. И он сразу сумел поставить себя. Пасынки были немало удивлены, когда отчим начал активно участвовать в их жизни. Как старший брат. И муж матери. А тут и Валечка подрос, и не было никаких оснований сетовать на судьбу: от него, двадцатипятилетнего, зависело благополучие большой семьи – и он этим не на шутку гордился. А домашние гордились им, его спокойствием, хладнокровием, деловитостью. Может быть, этот скорый брак приостановил развитие его болезни? Кто знает?

Надежда Валентиновна с тревогой смотрела на мужа. Как он мучается! Она сегодня надела нарядное, любимое им платье. Но что делать с этим проклятым возрастом? Хоть зеркала убирай...

Иннокентий Федорович попробовал улыбнуться. Когда-то платье сводило его с ума. Вернуться бы к себе, тогдашнему. Невозможно. Ну вот, опять прихватило. Надо постараться ни о чем не думать. Хоть несколько минут...

Невестка

Они медленно шли по аллее парка. Было ветрено и сыро.

– Кеня, почитайте еще, – попросила Ольга. – Мое любимое: «Паровик усталый». И «Это – подлог». И «Петербург». И «Шарманку», конечно...

– Олечка, Вы меня балуете. – Иннокентий почти забыл о привычной тяжести в груди, чувствовал себя свежим и бодрым. – А куда мы пойдем? Как бы дождь не зарядил.

– С Вами – хоть в подполье, – засмеялась женщина. – Можно и поближе. Вон беседка.

Анненский читал стихи с наслаждением – и с еще большим наслаждением смотрел на любимое лицо. Она действительно пошла бы за ним на край света, он это видел, чувствовал. Но обидеть Платошу! Не пасынка – брата. Когда-то он встал между мальчиком и его матерью. А сейчас – отнять еще и жену? Нет, это не для него. Приходится любить молча, бесполо, платонически. И ведь Платон (нелепый каламбур) совсем не ревнует. Хотя о чувствах жены знает. Не может не знать.

Ольга слушала нервные, бьющие током строки. Ей казалось, что стихи текут отовсюду: от мрачноватых серых кустов, голых деревьев, вязкого, мутного царскосельского неба. Вдруг стало тяжело дышать: спазмом стиснуло горло...

– Олечка, Вы плачете... – Иннокентий Федорович целовал руки женщины. – Пойдемте в дом. Дети уже, наверное, беспокоятся: куда противный дед увел маму? Посмотрите на эти ветки. Видите, они вначале расходятся, а потом соединяются. Как мы с Вами...

«Соединяются, – вытирая платочком глаза, подумала Ольга Петровна. – Но не на земле».

Сын

– Ну-с, Валентин Иннокентьевич, каковы наши успехи? – Анненский сам не знал, почему у него поднялось настроение. Радоваться было решительно нечему: самочувствие отвратительное, стихи печатать не хотят, отставка, похоже, будет полная, так что о чтении лекций придется

забыть. Да и новая книга, рукопись которой Валя сейчас держит в руках, может пройти незамеченной. Запросто.

– Папа, я сейчас же начну, – сын был не на шутку увлечен предстоящими хлопотами. – Ты знаешь, тянуть не буду. Постараюсь все подготовить за два дня. А может, и в один уложусь.

– Ну, Валечка, прямо за один день. Ларец-то немаленький, да и заполнен порядочно. Все вычитать, да исправить, да переписать, если нужно. Не спеши, пожара нет. Я эти пару-тройку дней подожду. Дольше ждал. Кстати, никакого псевдонима не будет. Хватит.

– Папочка, для меня переписывать твои стихи – не труд, а счастье. Мы с Олей вчера об этом говорили. Помнишь: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь»? Это же о тебе.

– Валюша, Пушкин это о себе писал. Ты забыл, кто твой отец? Престарелый дебютант, которого, если и хвалят, то сквозь зубы. А чаще игнорируют. Мои новые стихи Маковский выкинул из номера. Ладно, давай о веселом. У тебя все беловые есть, так ведь? Пройди рукопись не спеша. Если что не так, исправляй. И меня зови. Хотя завтра я целый день в Петербурге. Вернусь только вечером.

– Папа, я почти все наизусть помню. Ты не волнуйся только. А если что, Оля мне поможет: ты же ей всю книгу прочитал. А память у нее замечательная...

– Не так уж много я прочитал, – Иннокентий Федорович почувствовал, что краснеет. Сын, видимо, не понимал, какие чувства связывают отца и невестку. Или делал вид. Хорошо хоть. Платон никогда не говорит с ним о жене, когда они бывают наедине. Их отношения совершенно чисты, а он считает себя грешником. Наверное, потому, что в мыслях грешит много лет. Они с Олечкой грешат вместе. – Так что Олю лучше не трогай. Ей и так забот хватает. С детьми... Пожалуйста, Валя. Запятые, отступы, курсив – постарайся ничего не пропустить. Проверь каждую пьесу, каждую строку. Для меня это очень серьезно, ты знаешь. Второго провала я, наверное, не переживу.

– Папа, не будет никакого провала. Ты знаешь, что мне сказала Оля? Когда она тебя слушает, то радуется каждому слову. И огорчается, что стихи такие короткие.

– Да уж, – Анненскому захотелось сию же секунду увидеть невестку. Желание переполняло его. Идти, бежать, ехать куда угодно, только бы коснуться взглядом Олиного лица. Что за необъяснимая блажь, глупость? Как раз сегодня сердце чуть успокоилось, было вроде бы легче, чем в предыдущие дни. – Ты можешь считать меня старым занудой, но я по-прежнему не верю, что на книгу обратят внимание. Завтра покажешь мне, что получилось. Спокойной ночи, сын!

– Отдыхай, папочка. А я немножко пообщаюсь с другим Иннокентием Анненским... Поэтом.

– Валька, ты же не Макс Волошин, который думал, что есть несколько Иннокентиев Анненских. Я тот же. И в стихах, и в прозе, и в жизни. Неужели непонятно?

Поезд

День обещал быть хлопотным и тяжелым. И сердце дало о себе знать сразу после завтрака. Пришлось прилечь. Анненский вышел из дома чуть позже обычного, но на поезд успел.

Иннокентий Федорович сидел у окна. За окном мелькали привычные, многожды виденные картины. И мысли крутились привычные, под стать пейзажу. Почему принято считать, что поэт должен быть молодым? Жаль, что Пушкин прожил только полжизни. А Лермонтов был совсем мальчиком, моложе его Вальки. «Горные вершины спят во тьме ночной...» Где в этих гладеньких, напевных строках боль и мука нашей перекореженной жизни? Он перевел Гете иначе. Стихи, нервные и рваные, с анжамбеманом посередине, ближе к оригиналу. Но не в этом главное... Анненский со страхом думал, что его перевод (да, да, с собой можно было не лукавить) сильнее. Он знал цену своим стихам. И постоянно ощущал безразличное отношение к себе, которое уже не тяготило – унижало. Даже Блок, любимый им, талантливей-

ший Блок, написал о нем сухо и безлично. Да что они понимают, эти двадцатилетние судьи? Кто сказал, что в пятьдесят поэт может быть списан в тираж? А Тютчев? А Фет? А Случевский? Сейчас, когда поезд приближается к Царскосельскому вокзалу, Валя вычитывает «Кипарисовый ларец». Увидеть бы эту книгу. Подержать в руках. Прямо в глаза бьет только что вырвавшееся на свободу утреннее солнце. Анненский улыбается ему. Как он радовался каждому новому году, мечтал встретить еще одно десятилетие. Остался всего год. Г-споди, многомесячный неподъемный год, который ему не осилить. Да что год! До него целый месяц. А до этого месяца почти целый день, четырнадцать неповоротливых, громоздких часов. Чертова прорва минут. И каждая может оказаться последней.

Поезд тормозит. Вот он, вокзал. Пассажиры встают. Медленно идут к выходу. Что еще остается?

Похороны

Толпа собралась изрядная. Валентин стиснул зубы, чтобы не застонать: почти никто из этих людей не знал, даже не догадывал-с я, кого сегодня хоронят. Кто замер в гробу в застегнутом наглухо учительском мундире.

Неожиданно его тронули за рукав. «Простите, барин, – послышался знакомый голос. – Что же это... Батюшка-то Ваш...» «Истопник гимназии» – промелькнуло в мозгу. Валентин Иннокентьевич кивнул и медленно обернулся: рядом стояла Ольга Петровна, глаза ее были сухи, рот плотно сжат. Странно: только что он отчетливо слышал стихи. Наверное, померещилось...

Короткие рассказы

Полет

Он проснулся резко, рывком, как по команде. В первую секунду, когда подробности сновидений еще не успели затуманиться, возникло ощущение потери. Захотелось вернуться в сон, укрыться им с головой. Рука машинально потянулась к мобильнику: так и есть, до подъема почти полчаса. Если бы можно было управлять временем не просыпаясь.

Ему снился Днепрпетровск. Он жил там уже давно, хотел вернуться в Израиль и почему-то откладывал возвращение. Порой даже казалось, что он проживает в старой родительской квартире, которую давным-давно оставил. И спит не в своей кровати, а в крошечной дочкиной, свернувшись, как лента Мебиуса. Или это был сон во сне. А наяву – то есть в реальном сне – он ночевал в какой-то гостинице, чуть ли не в самом центре города, которую непонятно кто оплачивал.

Целыми днями он бродил по городу. Город совсем не изменился – и в то же время был совершенно другим. Наверное, потому, что изменился он сам. Он заходил в незнакомое место, поводил головой из стороны в сторону, будто сбрасывая наваждение, и вдруг оказывался там, где любил бывать. В забегаловках подавали те самые блюда, которыми кормили двадцать пять лет назад. В книжных магазинах можно было порыться в завалах, которые давно пополнили городскую свалку. В кинотеатрах специально для него шли допотопные фильмы, он с наслаждением пересмотрел «Профессия: репортер» Антониони. И трилогию Абуладзе. На «Древе желания» в зале больше никого не было.

Нужно было работать, заниматься каким-то разумным делом. Он заходил в разные конторы, показывал свои документы, но оказывалось, что он работает в Израиле, а здесь в командировке. Целью приезда было «обретение душевного равновесия». Какое равновесие он мог обрести один, без семьи – непонятно. Несколько раз пытался вернуться, заказывал билет, но в последнюю секунду происходили разные нестыковки: то рейс откладывали на несколько дней, то его не оказывалось в списке пассажиров, то ему возвращали деньги по распоряжению какого-то мифического шефа. А город жил своей нормальной жизнью, самолеты улетали и приземлялись, в том числе и по нужному маршруту. Только без него.

Удивляло и другое: он все время с кем-то общался, но никто не удерживался в памяти. Во время разговора в мозгу будто выстреливало: «Не тот! Не та!» И он уходил посередине фразы, а за ним шли люди-невидимки. Иногда его окликали по имени. Он оборачивался, вглядывался в лица. Казалось, в толпе мелькает что-то свое, родное. Или это ощущение лепилось прямо из воздуха, загаженного, измороженного заводскими выбросами, которым он дышал полной грудью. И никак не мог надышаться.

Тяжелее всего было ночью. Он ложился попозже, один раз даже совершил чудовищный моцион: перешел на левый берег по старому мосту, потом пехом добрался до нового моста, опять оказался на правом берегу – и вернулся в номер. Без сил дополз до кровати, но, стоило закрыть глаза, как в них вламывалось садистское израильское солнце, он слышал ивритские слова – и узнавал в этих вязких, затягивающих звуках голоса детей. Ему опять мерещился аэропорт. Шла посадка. Он лихорадочно искал билет – и не мог найти. Вдруг по радио объявили, что пассажир Х приглашается к диспетчеру. Даже в юности он не бегал так быстро. Девушка, чем-то напомнившая дочку, извинилась за беспокойство и положила на стойку билет. Он едва сдержался, чтобы не поцеловать ей руку. Через минуту проходил паспортный контроль, причем в его документы даже не заглянули. Уже поднимался по трапу в самолет. Никто не тормозил, не тянул за руку или за душу. И тут что-то сломалось, выпал какой-то крохотный

винтик, делающий сон похожим на жизнь. В те секунды, которые остались до пробуждения, нужно было выбрать между ним и ею. Вдруг стало смешно: разве он может что-то решать? Все решено. Во сне.

Зимнее время

А.Р.

Солнечные блики скользили по воде. Жена подплывала к сияющей полосе, почти сливаясь с ней. Он стоял на месте и отрешенно следил за удаляющейся фигурой. Внезапно услышал: «Эй, ты заснул там?» Ничего не оставалось, как пуститься вдогонку.

* * *

«Меня зовут Анна» – девушка откинулась на спинку кресла, вытянув длинные ноги. «Чуть моложе меня, – подумал он. – Интересная девчонка, только понта много». Ничего сверхъестественного в тот вечер не произошло. Кажется, он увязался кого-то провожать. К новенькой даже не подошел. Зачем?

* * *

Телефон зазвонил в полдевятого. Кто это в такую рань? В воскресенье? С трудом разлепив веки, он взял трубку – и удивился еще больше: «Извини, просто не могла удержаться. Какая девушка! Держись за нее руками и ногами». Полина, жена приятеля, была сдержанна и немногословна. Как всегда. Опять лег, но сна как не бывало. Оказывается, можно наслаждаться, когда хвалят не тебя.

Они встречались всего два месяца. Вначале ему казалось, что это временно. Но Аня вошла в него, как нож в масло. Он считал минуты до каждого свидания. Смотрел на нее – и не мог насмотреться. Они целовались без конца, даже посреди улицы. Как школьники.

* * *

Они шли по переходу между этажами тбилисского универмага. Почти вровень. Жена изящно несла свой семимесячный живот – и он с нескрываемой гордостью наблюдал за ее походкой. Навстречу двигалась старушка. Поравнявшись с ними, оторвала взгляд от земли: глаза у божьего одуванчика были ясные, цепкие. «Девку родишь» – выпалила без малейшего промедления. В ту же секунду ее глаза потухли, старуха вновь уставилась в пол – и пошкандыбала дальше.

Они одновременно посмотрели друг на друга. Жена засмеялась. Не обращая внимания на проходящих мимо, он аккуратно обнял обеих.

* * *

«Тавии бэн! Ат рода бэн?»³ – женщина кричала с расстояния десять метров. Они пошли на рынок за покупками, «на покупки», как говорила дочка. Как жену разглядели в густой

³ Тавии бэн! Атроца бэн? – У тебя будет сын! Ты хочешь сына? (иврит).

толпе? Израильтянка была примерно их лет, веселая и симпатичная. «Кэн, тогда»⁴ – ответил он на своем убогом иврите.

«Вспомнила Тбилиси?» – обратился к жене.

«А я не забывала. Пошли, здесь дорого. Может, найдем что подешевле».

* * *

Солнце садилось. «Почему так рано? – подумал он. – Ах, да: сегодня перевели часы. Зимнее время».

Они поднимались по лестнице. Только что их коснулся слабенький луч, наверное последний: солнце слилось с горизонтом – и начало медленно погружаться в воду. На последней ступеньке он обернулся – сзади уже ничего не было.

Коляска

Девочка хотела домой. В свою кровать, свою квартиру, свой двор. Куда все пропало? После прогулки ее, как обычно, уложили спать. А сейчас... Она лежала в тесной комнате, где вместо двери почему-то было зеркало. В ушах стоял противный повторяющийся стук, картинка за окном беспрестанно менялась. Папа сидел напротив и смотрел на нее. А в проходе стояла любимая коляска.

«Проснулась, лягушка-путешественница? – папа чему-то радовался. – Давай ужинать». Она поела и почувствовала, что снова хочет спать. Куда они едут? И когда вернутся домой? Почему ее постоянно что-то дергает? И эти убегающие картинки за окном... Когда смотришь, глаза болят... Лучше совсем их закрыть.

«Станция Вылезайка. Вставай», – она посмотрела в окно и удивилась: никто никуда не ехал. Снаружи стояла одна и та же картинка: большущее здание с буквами на нем. Некоторые буквы она знала. Папа начал вытаскивать вещи. Ее посадили в коляску и повезли. Неужели домой?

Они сидели в машине. Незнакомый водитель называл бабушку по имени. И все время интересовался Израилем, куда они, оказывается, едут. Последние несколько месяцев она слышала это слово каждый день – и никак не связывала с собой. Оно относилось только к взрослым.

Машина остановилась. Ее привели в большую чужую квартиру – и она несколько раз обежала ее. Опять захотелось спать, а коляска осталась у папы. Пришлось лечь в кровать. Было неудобно, но уже через минуту это не имело значения.

Она проснулась от голода. Не успела поесть, как они снова сели в машину и поехали. Наконец перед ними появился светлый стеклянный дом, куда они зашли.

Внутри ее встретили папа с мамой. И лучшая в мире коляска. Но прежде чем сесть в нее, нужно было проверить, куда же ее все-таки привезли.

«Хватить бегать, хоть капельку отдохни. Еще набегаясь, когда прилетим», – папа уже не шутил, был серьезен и даже чем-то озабочен. Но ей и самой надоело носиться взад-вперед: всюду были чужие люди со своими вещами. Зачем они ей? Лучше послушать папу и лечь в коляску. Закрыть глаза и вспоминать, как они катались по двору. Вчера...

Ее разбудил ветер. Они стояли перед странной длинной лестницей. «Не бойся, маленькая, это самолет. Мы сейчас полетим», – папа опять улыбался. Почему он всегда знает, о чем она думает? Неужели потому, что мама зовет ее папиной дочкой?

⁴ Кэн, тогда — Да, спасибо (иврит).

– Я вам третий раз объясняю, что коляску надо сдать в багаж. Ваша девочка большая и вполне может обойтись без нее, – высокий дядька в красивой форме говорил громким, обиженным голосом.

– Да вы посмотрите на эту «большую», – папа не собирался соглашаться. – Она весь полет будет требовать свою коляску.

– А вы попробуйте. По-моему, вы на свою дочку наговариваете.

– Ну, давайте. Попробуем, – папа действительно разозлился. Но не на нее же!

«Доча, твою коляску надо отдать. Поняла, маленькая? Давай, я помогу», – папа был совсем серьезен, но подмигнул ей. Почти незаметно.

Девочка мгновенно расплакалась. На всю катушку. Что это, в самом деле? Увезли из дома. Сажают в какой-то самолет. Так еще и коляску отдавай?

«Ладно, берите вашу «Мальвину», – дядька отвернулся в сторону и махнул рукой. – Не до вас».

Они сидели в самолете. Папа с мамой – в креслах, она – в коляске. Ее кресло было свободно. «Все, дочура, сейчас взлетаем, – папа легким движением поднял ее, посадил в кресло и застегнул ремешок. – А наверху, если захочешь, вернешься назад».

«Конечно, – подумала девочка. – Я же лягушка-путешественница. Интересно, кто это?»

Взгляд

Памяти Н. М.

Он лег в постель, потянулся и закрыл глаза. Сон не шел. Не было никакого намека на стремительное погружение в самого себя, которое он так любил. Глаза открылись. Пришлось вернуться к тому, что уже закончилось. Сегодня.

О том, что Неля умирает, он узнал почти случайно: они учились в разных классах и виделись нечасто. Он не очень-то обращал внимание на девчонок. Но эта была заметна. Она проносилась по коридору, как вихрь, оставляя за собой маленькие волны. Ему как-то захотелось побарахтаться на такой волне. «Что, нравится Нелька? – спросил одноклассник, проследив за его взглядом. – Дурило, мы для нее – мелюзга». А потом Неля пропала. Она не ходила в школу больше месяца, когда он услышал от одной из ее подружек: саркома.

Видеть Нелю в гробу было дико. Как будто там лежала кукла, лишь чем-то ее напоминавшая. Одноклассники говорили один за другим, благодарили умершую и обещали помнить всю жизнь. Он слушал и не понимал: разве такую девочку можно забыть?

Сейчас он сидел на постели и думал, думал, думал. Конечно, все люди рождаются и умирают. С первого аккорда он различал похоронный марш – и старался обходить процессии стороной. Но до сегодняшнего дня никак не сопоставлял смерть с собой. Пятнадцать лет, только вчера он был ребенком. А Неля старше всего на год! Ее, веселую, шумную, быструю, запихнули в деревянный ящик. Никто больше не сможет назвать девочку по имени. Услышать, увидеть, полюбить. Как же это?

Он смотрел в темноту и изо всех сил гнал от себя мысли. Но они никуда не уходили. «Почему мы умираем? Кто это придумал? Как это можно изменить? Почему я... я... Я... должен... обязан умереть? Для чего тогда жить? А что я могу сделать, если смерть свалится на меня? Или уже валится? Сейчас, пока я сижу и смотрю вокруг, моя жизнь уходит... Почему вокруг так темно? Может, включить свет? А как дойти до выключателя? Откуда я знаю, что меня там ждет?»

Он медленно, осторожно закрыл глаза и лег. Внутри что-то острое, режущее как будто размякло, разгладилось. Ему вдруг стало лет пять, не больше. Неля сидела рядом и легонько

сжимала его руку. «Не бойся, малыш, – слышался ее голос. – Спи. И я посплю. Ночью всем надо спать. Как же иначе?»

Пауза

Слова приходили одно за другим и незаметно складывались в предложения. Человек записывал их в момент появления. Стоило поторопиться или замешкаться – и корявое, двусмысленное слово застревало во рту. Наступала пауза.

Когда-то пауза затянулась на двадцать лет. Все, что было до нее, забылось, и она стала жизнью. Предсказуемой. Без загогулин и выкрутасов. Временами почти счастливой. Чужой.

Журавленок

Журавленок стоял у воды, почти не шевелясь, и смотрел в море. Издалека можно было подумать, что белая птица – манекен, настолько плоской и неподвижной казалась эта легкая фигурка. Но стоило приблизиться, как она оживала, взмывала вверх и оказывалась далеко.

Никто не знал, как он появился здесь. Наверное, отбилась от одной из бесчисленных стай, избравших приморский город для последней остановки перед длинным многодневным перелетом. Может быть, журавленок заболел. Или взрослые решили, что ему не хватит сил долететь. И он остался.

Довольно скоро новенький познакомился с местными птицами. И юркие чайки, и неповоротливые голуби даже не пытались его обидеть. Постепенно он привык и к собственному одиночеству, и к тому, что не похож ни на кого из здешних обитателей: ни снежной белизной перьев, ни длиннющими ногами, ни худобой. Иногда ему мешали дети, которые бегали по берегу и бросали в него всякий мусор. Наверное, они просто дурачились. Но он сразу перелетал на другое место.

Человек появился неожиданно. Он не подходил к журавленку, а стоял неподалеку. Перед ним была какая-то доска. Журавль привык к странному незнакомцу и уже не удивлялся, что тот приходит каждый день и подолгу смотрит на него. Прошла неделя. В одно утро человек неожиданно повернул деревяшку, а сам отошел в сторону. Журавленок увидел белую птицу и приблизился. Птица оказалась очень похожей на него. Он иногда видел в воде свое отражение, но оно все время менялось и покрывалось пленкой. А здесь все было ясно. Крылья птицы казались большими и сильными. Такая сможет улететь куда угодно. Не то что он.

Ночью журавленку приснилось небо. Далекое, северное, родное. Его продувал холодный ветер. И, чтобы согреться, он летел все быстрее. «Давай, давай, – галдели вокруг взрослые птицы. – Лети к нам. Ты справишься».

Инфаркт

Памяти отца

Воздуха не было. Каждая попытка вдохнуть отдавалась внутри, будто по застрявшему в горле горячему кому проводили наждаком. Сердце то заполняло всю грудь, то куда-то пропадало. Давид с трудом повернулся и посмотрел на будильник. Три. Медленно встал и сделал несколько шагов по комнате. Ему показалось, что стало легче. А вдруг пронесет?

Это началось несколько дней назад. Он вроде в шутку сказал, что чувствует тяжесть в спине. Жена шутить не собиралась: «Нужно провериться. Это сердце...» Он отмахнулся: «Я ведь только месяц назад обследовался. Ничего не нашли. Здоров». О том, что на работе почувствовал внутри режущий удар – под дых, – говорить не стал. Он тогда попросил у кого-то

папироску, хотя не курил уже десять лет. Легче не стало. Правда, потом его отвлекли – и боль незаметно ушла. А сейчас вернулась. Удесятеренная... Что было в последние дни? Ничего. Кроме разговора с директором. Тот проходил мимо его рабочего места – и вдруг остановился.

– Как трудится наш пенсионер? Не тяжело?

– Спасибо, Григорий Иванович. Справляюсь.

Убедившись, что их никто не слышит, бывший сокурсник подошел ближе.

– Не устал заниматься галиматьей? К себе не тянет?

– Тянет. А что толку?

Потом долго не мог успокоиться. И так по утрам ему приходилось переламывать себя, без конца напоминая, что цех, в котором знал каждую пылинку, больше не его. Свою нынешнюю работу в палате мер и весов – гирьку туда, гирьку сюда – временами ненавидел. Но зачем Гриша заговорил об этом? Неужели потому, что в незапамятные студенческие времена Давид учился лучше? Да и начальником цеха стал раньше. Когда-то. Были и мы рысаками...

Он вставал, потом садился на кровать, пытаясь найти какую-то неведомую спасительную позу. Но боль находилась всюду, будто воздух только-только зародившегося октябрьского дня был уже заряжен ею. Нужно позвонить Поле. А что сказать? Что не смог перетерпеть двух часов до окончания ее дежурства? Неужели он настолько ослаб? Стыдно...

Давид лег, закрыл глаза – и увидел жену. Она говорила по телефону. Никаких слов нельзя было разобрать, но сам голос действовал успокаивающе. Как снотворное...

Вдруг прямо в ушах застучало что-то тяжелое, грубое, настырное. Будильник, всего-навсего будильник... Он повернул голову: начало шестого... Почти на автопилоте встал и подошел к телефону. Поля ответила сразу. Повезло.

– Полечка, приезжай, – Давиду казалось, что говорит кто-то другой.

– Болит? – Жена скорее утверждала, чем спрашивала. Неужели его выдает голос?

– Да, – говорить становилось все труднее, слова застревали в горле.

– Давно?

– Третий час.

– Давидка, родной, не волнуйся. Позови Лизу.

Он потащился в соседнюю комнату, где спала семнадцатилетняя дочь. Услышав слово «мама», Лиза тут же встала.

– Папочка, пойдем, – вид у девочки был решительный... и испуганный. – Мама уже едет.

Ему казалось, что он не успел прилечь, как раздался звонок в дверь. Дочка, сидевшая рядом, кинулась в прихожую.

В спальню вошла жена – и с ней черноволосая женщина с маленьким чемоданчиком, который раскрылся будто сам по себе.

– Ничего не говорите, Давид Израилевич, – врач вела себя так, будто они давно знакомы. – Сейчас будет легче.

– Что, Сана? Инфаркт? – голос жены слышался как сквозь сон. Боль неожиданно отступила.

– Похоже, да. И немаленький. Я сделала укол. Будем везти?

– Одну секунду, – Полина подошла к кровати и внимательно посмотрела на мужа. – Да. Зови санитаров.

– Полина Абрамовна, можно выносить? – тихий голос вошедшего в комнату мужчины не вязался с его крупной, сильной фигурой.

– Конечно, Кирилл. Приступайте.

Давид раскрыл глаза. Чьи-то руки ловко выбрали его из кровати. «Зачем? – возмутился внутри двойник, здоровый и сильный. – Я сам».

Санитары медленно спускались по лестнице. Лежать на носилках было неудобно. Точным, экономным движением больной поправил собственное тело.

Возле подъезда стояла «неотложка». Увидев выходящих людей, водитель включил мотор. Жизнь продолжалась.

Встреча

– Алина Аркадьевна, за что единица?

– Честно заработал, Петенька. Синус с косинусом перепутал? Перепутал. Когда я новый материал объясняла, ворон за окнами считал? Считал. Так что до двойки недотянул. Там в дневнике все написано, можешь почитать. Пусть мать приходит. Так и передай: жду не дожусь. Все, свободен.

Ученик вышел, грустный и подавленный. Конечно, он привык к выволочкам. Но математичка так с ним еще не разговаривала. Самая молодая училка в школе. Было обидно: никаких ворон он не считал. Просто смотрел на нее. Смотрел, а не слушал.

Алина была недовольна собой. Вдруг захотелось курить. Странно: она бросила еще на последнем курсе, почти два года назад. Ну вот, наехала на мальчика. Туповат, конечно, но ведь можно было иначе объяснить. Ласковой. А все потому, что дурацкий токсокоз замучил. Уже восьмая неделя, нужно немедленно что-то решать.

«Что-то» означало аборт. Сегодня утром, перед уроками, опять встретила Олега: их классы были рядом. «Алинка, когда увидим-с я? – быстро спросил он. – Соскучился, честное слово». Она молча прошла мимо. Папаша. Спать с ним было, пожалуй, приятно. Но рожать от этого племенного бугая? К тому же перед их первой встречей, которую девушка про себя именвала «случкой», он зачем-то уточнил, что она ему «дико нравится как дополнение к семейной жизни». «Вот сучок», – Алину передернуло. Впрочем, в постели примерный семьянин оказался «на уровне» – и его болтовню захотелось забыть. Встречи продолжались. И всего-то один раз она не взяла с собой пилюли. Когда Олежек на большой перемене сказал, что сегодня квартира друга свободна, машинально кивнула. Понадеялась, что пронесет, кретинка. Вот и получила.

Положение было однозначно безвыходное. И все равно казалось, что этого незадачливого человечка, затесавшегося внутрь, можно как-то спасти. До позавчерашнего разговора с матерью.

– На меня не надейся, – мама говорила почти враждебно.

– Ты что, не хочешь внука?

– Еще как хочу! Но не байстрюка. Вот телефон хорошего врача. Позвони и договорись.

Она послушно взяла бумажку. Потом, проверяя тетрадки, все время повторяла про себя обычный, ничем не примечательный номер. Как приговор.

На следующее утро позвонила. Врач был немногословен: «Да, я в курсе. Какой срок?» Она ответила. «Так тянуть нечего. Вы окончательно решили?» Алина промямлила что-то утвердительное. «Приезжайте завтра днем. Спросите меня». Оставалось только положить трубку.

Она ехала в троллейбусе и старалась не думать. Так проще. Любую мысль – жгучую, беспросветную, бессмысленную – давить в зародыше. Уставиться в окно – и не видеть ничего, кроме своего дрожащего отражения. «Привет! Ты что, не узнаешь меня?» Алина не сразу поняла, что к ней обращаются. «Ой, Рома, извини. Просто задумалась».

Они пару раз встречались у ее школьной подружки. Роман, как и Рита, был пианистом. Алина даже где-то читала о нем как о подающем надежды. Впрочем, музыка – при отсутствии музыкального слуха – ее никогда не интересовала.

– Как дела, Алинка? – почему-то показалось, что вопрос не был только данью вежливости.

– Да ничего, живу себе. А ты?

– Женился вот. Третья неделя пошла.
– Да, Ритка сообщила. Жена – музыкантша?
– Что ты? Нет, конечно. У кого-то в семье должна быть серьезная профессия.
– Неужели учительница?
– Ну, не настолько серьезная, – Роман засмеялся. – Клара строитель.
– И какие успехи в семейном строительстве? – Алина поймала себя на том, что настроение изменилось: даже пошутить захотелось.
– Сплошной медовый месяц: дуэт для скрипки и альта. Есть такое классное стихотворение. Бывай, Алинка. Ритуле привет, – он махнул рукой и вышел.
«Амоя остановка – через одну», – Алина провожала Рому глазами, пока его легкая, верткая фигура не скрылась за углом. Троллейбус тронулся, быстро набирая скорость. «От него бы я родила, – подумалось почему-то. – Что бы там мама ни говорила. Ладно, проехали».

Возвращение

Сын еще раз наполнил ведро водой и вылил в него остаток чистящего средства. Вновь яростно заработал тряпкой. Грязь, казалось, навсегда въевшаяся в камень, исчезла. Памятник выглядел почти новым. Лишь дата осталась прежней.

Он вспомнил тот апрельский день. Утром позвонила мама. Ночь прошла спокойно. Пошел на работу. Вечером уже был в больнице. Еще ничего не понимая, смотрел на пустую койку. «Мать в коридоре» – сказал сосед, отводя взгляд. Через секунды все выяснилось. Отец лежал в мертвецкой. Теплый.

Потом была суета похорон, неожиданно многолюдных. Могильщики работали споро. Когда уходили с кладбища, мама прошептала: «Такой маленький папа – и такая огромная яма». Только он услышал эти слова.

Через несколько лет их будто размазало по разным странам. В родном городе остались одни могилы.

На портрете отец был молодым, гораздо моложе, чем сын сейчас. Поймать взгляд, направленный куда-то в сторону, казалось невозможным. А сыну мечталось, чтобы его увидели, услышали, поняли. Хотя бы здесь, в зоне действия «доступного духа». Смотреть глаза в глаза – и говорить, говорить. Чтобы отец узнал обо всем, что произошло без него, об их скособоченной, несуразной и прекрасной жизни. Чтобы проживал ее вместе с ними день за днем. Все тридцать лет. И дальше, до самого конца.

Воронка

Сегодня

Автобус просквозил мимо. Водитель был тот же. За последние два года мы как-то привыкли друг к другу: частенько я подбегал в последнюю секунду, и он открывал мне дверь уже на ходу. Водитель тот же, маршрут тот же, вот только мне в другую сторону: безработные на работу не ездят. Ходят на биржу отмечаться. Пешком.

Полгода назад

Нужно взять себя в руки. Я же вылечу. Стоило вкалывать два года, чтобы пустить все коту под хвост? Кто мне Пушкин, в конце концов? Родственник по прямой? Скорее, по ломаной. Я же думаю о нем с утра до вечера, даже когда говорю на иврите. Надо быть последним болваном, чтобы влезть с потрохами в позапрошлый век, где моих предков русские дворяне, даже без

шестисотлетней родословной, на порог не пускали. Писать о Пушкине? От имени Пушкина? Да он бы меня обложил с головы до ног на двух языках минимум. Быстренько помог бы забыть обо всем. «Да, да, забыть – и поскорее. Не думать о будущем – его нет. Не видеть людей вокруг. Пусть все валится из рук. Пусть нищета глядит из всех дыр и воет в ушах, как зимний ветер. Только как смотреть на детей, которых пустил по миру? На жену, которая непонятно на что надеется? На себя самого?»

Я свихнулся окончательно. Уже пять! День, считай, прошел.

Пять лет назад

Такого не было со мной не помню сколько лет. Это что, вдохновение? Разве оно приходит, когда переводишь чужие стихи? Или Моисей Тейф – не чужой? Сколько мне было, когда читал его впервые? Девятнадцать? Не верится, что можно быть таким молодым. И стихи были молодые. И переводчица, Юнна Мориц. Да и сам Тейф не успел состариться. Умереть – да, но не состариться. Поэты вообще не стареют. Пока живут.

Что было вчера? Только сел в поезд, идущий домой, как на меня накатило. Достал рукопись и начал черкать. За полчаса перевел двадцать строк. Так не бывает... Бред... Графомания...

Мы уезжаем. Билеты куплены, через неделю отправим багаж. Почти все продано, даже машина. Странно, я уже считаю наш отъезд чем-то свершившимся, хотя полтора года назад, получив вызов, хотел избавиться от него или хотя бы отложить на несколько лет. Дочке полгода – куда ехать? В стране все меняется, даже наблюдать интересно. А участвовать?

Непонятно... Всего полтора года назад я не чувствовал между собой и тем, что вокруг, никакого зазора, ну, почти никакого. Что же произошло со мной? Когда я начал смотреть на родную страну, на соседей, сослуживцев, просто на людей, встреченных на улице, будто со стороны? А на свою жизнь здесь – как на черновик? Я не помню, в какой день это произошло. Но как только я увидел в письме, пришедшем на мое имя, на месте обратного адреса незнакомый город «Арад», пути назад уже не было. Потом, когда дочка бегала по двору синагоги и кто-то пошутил: «Так она до Израиля добежит», – мы с женой даже не улыбнулись. Добежит или долетит – какая разница? Мы не хотим для нее жизни, похожей на нашу. И в то же время так хочется, чтобы она запомнила все, что ее окружает сейчас. Глупо, правда? Что можно запомнить в два года? Но я раз за разом захожу с ней в мой школьный двор и показываю скромную трехэтажку, в которой отучился десять лет. Мы часами гуляем по нашим узеньким улицам, и я повторяю название каждой из них. Эти привычные с детства слова: «Ясельная», «Сивороновская», «Красноармейская», «Радистов». Как будто вновь прохожу по ним, возвращаясь из школы. Зачем они ей? Она же в Израиле все забудет через месяц. Или я делаю это для себя?

Сорок два года назад

«Зиновий, а отчество?» – спрашивает воспитательница. Она не понимает, почему вполне нормальный неглупый мальчик молчит. Я тоже не понимаю, как это произошло. Ведь я ничем не отличался от других ребят из нашего отряда. Мы купались, играли, веселились. И вдруг... Кто это придумал? Кому понадобились имена-отчества наших родителей? Еще до того, как ко мне обращаются, я чувствую страх, который возникает где-то в кончиках пальцев и будто обручем сдавливает голову. Почти машинально я выдавливаю из себя папино имя. Но отчество!? Я не могу произнести его. Это слово уже год с утра до ночи мурыжат на всех перекрестках. А сейчас оно оказывается моим. Частью меня. Все, что было близким и привычным: широкая река с уютной купальней, аккуратно размеченная пионерская линейка, где мы стояли всего несколько минут назад, прохладная кровать, куда я должен лечь через два часа, светлый, весе-

лый лес и даже стоящее рядом облупленное дерево – становится недоступным. Мне напоминают, что я – чужой. Агрессор. Враг.

Ребята видят, что происходит что-то странное. Пустяшное, минутное дело застыло. Они решают, что я забыл, и начинают мне подсказывать. Варианты сыплются со всех сторон: «Зиновий Иванович... Зиновий Николаевич... Зиновий Петрович... Зиновий Федорович...» Почему-то именно это небрежно брошенное «Федорович» я воспринимаю как оскорбление. Становится нестерпимо стыдно. Хочется провалиться сквозь землю, раствориться в воздухе. Исчезнуть.

«Что с тобой?» – наконец-то воспитательница внимательно смотрит мне в глаза. И замолкает. Не знаю, что она там видит, но меня сразу оставляют в покое.

Перед утренним построением мы сталкиваемся. «Вспомнил?» – быстро спрашивает она. «Израилевич» – выталкиваю я ненавистное слово.

Через три недели мне исполнится тринадцать. Я понятия не имею, что это еврейское совершеннолетие. И что вчера, в теплый августовский вечер, оно было отмечено. По-советски.

Пятьдесят три года назад

1

Как приятно просыпаться... Смотреть по сторонам и ждать, когда к тебе подойдут. Можно даже немного пошуметь. Но дедушка и так придет. Когда я вижу его, хочется кричать от радости. Какой он большой и красивый! Какие у него ласковые руки! Какой чудесный голос! Как он похож на маму. Как давно я ее не видел. Уже много дней. Он поет мне песни на своем языке, который я начинаю понимать. На моем языке они почти не говорят, ни дедушка с бабушкой, ни дядя с тетей. Только сестренка тарыхтит на двух языках сразу. А я пока что мало говорю. Только слушаю и улыбаюсь. Дедушка вынимает меня из кровати и целует. А я целую его.

Сегодня мы долго катались по двору. Наконец поехали на улицу. И почти сразу дедушка встретил знакомую. Они стояли и говорили. Я слышал мамино имя и несколько раз мое. Интересно, что такое «киндерлех»⁵. А потом мы вернулись домой. Какие там вкусные запахи! А мне ничего не дают, разве что чуть-чуть. Опять молоко из бутылки.

2

Почему дедушка должен работать? Он каждый день уходит утром и возвращается только вечером, уже уставший, и подходит ко мне лишь ненадолго. Бабушка остается дома. Целый день она шьет. Или убирает. Или готовит что-нибудь покушать. Она ничего не читает, а дедушка часто читает газеты или книги. Бабушка красивая и добрая, но мне с ней скучно. Вот когда приходит сестренка, подбегает ко мне и говорит на своем непонятном языке, наполовину моем, наполовину дедушкином. Она веселая, с ней интересно. Но не так, как с дедушкой. Я бы смотрел на него все время. Чтобы он был только мой. Ну ладно, пусть и сестренкин, она так смешно тянет его к себе. А я не тяну. Только крепко держу за руку, когда мы гуляем по двору. Я хотел бы выходить на улицу, но туда без коляски меня не пускают. А сестренка бежит всюду, где хочет, и тетя или бабушка все время гоняются за ней. Я хочу, чтобы и за мной гонялись. Но не дедушка. От него я никогда не буду убегать. Только бы он никуда не уходил.

⁵ *Киндерлех* — детишки (*идиш*).

3

Приехала мама. Они сидят рядышком и разговаривают. Я все понимаю. Оказывается, я уже большой и пора забирать меня. Дедушка просит оставить еще. Потому что ему совсем не тяжело сидеть со мной, что я ни разу не болел, окреп и стал еще больше похож на папу. Интересно, согласится мама или нет? Я никуда не хочу уезжать. Только если бы мама осталась здесь. А еще лучше, чтобы привезла сюда папу. И брата. Он хоть и не такой смешной, как сестренка, но тоже забавный. Если я стал большой, то почему меня не спрашивают? Почему все решают сами?

4

Мы с мамой едем домой. Дедушки с нами нет. Я плачу. Мама успокаивает меня, говорит всякие ласковые слова на дедушкином языке. Дедушка сказал ей, что я все понимаю. Я не хотел от него уезжать. Я не хотел отпускать его руку. Зачем мама это сделала? Разве я плохо себя вел?

Мама говорит, что летом дедушка приедет к нам, что дома меня ждут папа и братик, что они страшно по мне соскучились. Зачем она говорит это? Что я – сам не знаю? Что я – маленький?

Вариант

Почему подвернулась именно эта книга? Раздвоение личности... Именно сегодня, когда голова пухла от мыслей и хотелось немедленно переключиться на что-то. Генри Джеймс, когда-то читанный-перечитанный, показался той самой палочкой-выручалочкой. Да и повесть называлась безобидно: «Веселый уголок». Хотя в рассказе встреча симпатяги-героя со своим отвратным двойником-призраком никак не могла повлиять на прожитую жизнь. А когда стоишь на распутье сам, прочитанное будто обволакивает тебя, чем-то угрожая. Непонятно чем.

На работе уже год не подпускали к новому проекту, несмотря на многочисленные просьбы, надоевшие ему самому. Оставалось уволиться. Но что-то внутри противилось, мешало. Хотелось увидеть собственное будущее хотя бы краем глаза. Хоть во сне...

1

Будильник зазвонил без четверти шесть. Привычно сосчитав до двадцати, поднялся. Где-то читал, что так просыпаешься быстрее. Хотя, каким бы уставшим он ни был вечером, утром из зеркала глядел самодовольный энергичный тип. Бритье и легкая разминка заняли ровно столько времени, сколько положено. В шесть пятнадцать уже сидел за рулем. До начала утренних пробок оставалось около десяти минут. Вполне достаточно, чтобы проскочить.

Новенькая «субару» еле ползла впереди, съедая столь нужное время. Пришлось обойти ее почти по самой кромке. Так и есть: молодая баба, очень даже симпатичная. Наверное, чья-то секретарша. Чем болтать по телефону и смолить с утра пораньше, лучше бы ехала по-человечески. Еще и сделала ему козью морду. Зато теперь дорога свободна. Он мысленно уже пролетел ее и, поставив машину на стоянку, входил в кабинет. Предстоял обычный рабочий день, то есть забитый под завязку. Два совещания, одно из них на выезде, переговоры с американским филиалом плюс текучка, которую он особенно любил, стараясь сделать максимально полезной.

К тому же сегодня нужно уйти пораньше: вечером, чтобы убажить жену, пришлось назначить встречу с психологом, совершенно, по его мнению, излишнюю. Некуда 400 шекелей выбросить.

Они сидели на кухне. Салон и столовая казались слишком большими для ежевечерних отчетов, как он называл про себя эти посиделки. Можно было выговориться, не подбирая выражений.

– Да, этот новый парнишка, которого взял на *RHP*, совсем разонравился.

– Что это за хрень – *RHP*?

– Я тебе раз десять объяснял: препроцессор для гипертекста.

– Это для интернета, что ли?

– Естественно.

– Так что с этим кадром? Он же только пришел? Пару месяцев назад, да?

– Смотри: я ожидал большего. Вроде и с опытом, и с амбициями, а результаты не шибко.

И ребята недовольны. К тому же заседать любит. Сегодня один и тот же вопрос три раза поворачивал разными сторонами. Вместо того, чтобы сразу обо всем подумать. Минут двадцать лишних проторчали. У собственных программистов время забрал. Не резиновое, кстати, – на его лице была написана откровенная брезгливость.

– Ты что, уволишь его? – жена смотрела почти испуганно. Нелепая, гипертрофированная порядочность. Даже не верилось, что совсем недавно он сам был таким.

– А чего церемониться? Это ж не католическая свадьба. *Last in – first out*.

– Я этот твой «*LIFO*» терпеть не могу. У парня же семья, наверное. А ты его пинком под зад.

– Меня не для того держат, чтобы я о его семье заботился. Сама знаешь.

– Но ты же одеревенел совсем. Для тебя люди вроде компьютеров... Ты у Ноа был? – так звали психолога, к которой он ходил.

– А как же! В пол седьмого свалить пришлось. Ровно час общались. Строго по таксе.

– И что она советует? Это же ненормально, чтобы человек был так заиклен на работе.

Ты уже со мной начал на иврите говорить.

– Любопытный разговорчик был. Помнишь, лет пятнадцать назад я совсем собрался увольняться? Ноа считает, что это была точка отсчета. Я превратился в трудоголика, потому что остался в конторе. По твоей просьбе, кстати.

– Да помню я. Что за идиотская привычка по двадцать раз повторять одно и то же? А ты сам что думаешь? – жена, похоже, сама была не рада этому разговору.

– Ничего не думаю. Меня моя жизнь устраивает. И работа, и дом. И ты, кстати, тоже. Более чем.

– Но это же все границы переходит. Помнишь, как мы в Сиднее два дня в гостинице просидели? Ты даже в отпуске, как баран, ждал каких-то звонков.

– Спасибо хоть баран, а не варан. Ты же помнишь, тогда была демонстрация нового продукта, и договариваться с клиентами надо было на месте. А меня только продвинули, даже месяца не прошло. Случись неудача, хрен бы оставили... Мы же не в бирюльки играем. Никуда твоя саванна не делась. Ну, так провели в ней не пять дней, а меньше.

– А заплатили за пять.

– А для чего я пашу с утра до ночи? Чтобы ты мне за каждый шекель выговаривала?

Жена обиженно замолчала. Он сам понимал, что перегнул палку и придется извиняться. Лучше завтра, по телефону. А сейчас было самое время на боковую.

Сон свалил его за мгновение и растер по кровати. Как свою собственность.

2

Будильник зазвонил без четверти восемь. Собственно, он поднимался «за компанию», чтобы совсем не отлежать бока. «И так уже до срока в пенсионера превратился», – говорила жена. Он не спорил. Вообще старался казаться незаметнее. И не слишком задумываться о своем нынешнем состоянии, как будто оно могло по волшебству измениться.

Близкие в волшебство не верили. И видели в нем человека, потерявшего самого себя. А он старался не заикливаться ни на мыслях о будущем, ни на мыслях о прошлом. Радоваться солнцу, ветру, облакам, дождю. Теплу и холоду. Детской улыбке на улице. Чему угодно...

Поиски работы, продолжавшиеся второй год, были безуспешны. Даже звонки звучали все реже. «Полковнику никто не звонит», – горько шутила жена. Бывшему полковнику.

Дни наползали один на другой. Он по инерции что-то читал, кропал какой-то несерьезный код, чтобы держать себя в форме. Писал в разные конторы, напоминая о себе и стыдливо пряча свой возмутительный возраст. Ходил к психологу. Одна из встреч была как раз сегодня.

Пришло время выгулять любимца. Ежедневные прогулки были едва ли не самыми приятными моментами нынешних дней.

Когда на тебя водопадом низвергается чья-то любовь, чувствуешь себя нужным и самодостаточным. Хоть в собачьих глазах.

Пес уже сделал все свои дела, и они беззаботно гуляли по парку. На дальней лавке сидел какой-то старик, одетый в отвратительные обноски. Подойдя поближе, с удивлением понял, что тот не старше его. Они даже были похожи чем-то. Недаром пес рвался к незнакомцу, который дружелюбно улыбался в ответ. Нет уж, не хватало дышать помойкой. Он с силой потянул за поводок. Похоже, тот самый бездомный, о котором вчера говорила дочка. А наш глупыш снова хотел его облизать. Хмырь смотрел как-то странно, чуть ли не сочувственно. Неужели он настолько жалок? И кому? Этому уроду?

Они сидели на кухне друг напротив друга. Жена только что вернулась с работы и ужинала. А он докладывал об очередном дне, ушедшем насмарку.

– Джонни, как всегда, в лучшем виде. Знаешь, когда смотришь в эти глаза, самому хочется стать собакой. Погулял с ним часок. Только в парке он захотел облизать бомжа, от которого воняло за километр. Еле оторвал. А вечером сам ходил на экзекуцию.

– И что сказала Вика на этот раз? – так звали психолога.

– Она называет мое состояние синдромом неудачника. Меня столько раз увольняли по поводу и без, что утратил веру в людей. Сам себе не представляю, что кто-то поможет. Нужно себя иначе настроить. Что-то вроде перезапуска...

– Все это лирика. Тебе просто не нужны деньги. Испарилось желание их зарабатывать. Это она понимает? Иначе зачем хапает 120 шекелей за сеанс? Кстати, не лишние, – они привычно играли в нападение-защиту. А стоило ему заикнуться о прекращении сеансов, роли тут же менялись.

– Она все понимает. Еще говорили о самооценке, которая у меня страшно занижена.

– Но с чего это началось? Раньше-то все было иначе.

– Вика считает, что пятнадцать лет назад мне ни в коем *случае* нельзя было увольняться. И что нынешние проблемы начались тогда.

– То есть ты сам себе жизнь испохабил? И мне за компанию. Я же тогда тебя просила, умоляла почти. Помнишь?

– Ну, сколько раз можно напоминать? Я не в маразме. Тебе этого не хватает?

Жена замолчала, посчитав себя обиженной. Он и сам понимал, что «качать права» нахлебнику не положено. Оставалось извиниться, но просительный взгляд демонстративно игнорировался.

Поплелся в спальню. Только лег, как увидел нищего из парка. Но сейчас тот был изысканно одет и надушен дорогим одеколоном. Он шел прямо к нему. Ближе, ближе, ближе...

3

Он проснулся от холода. Никакого будильника не было, да и быть не могло: он остался где-то там, в старой жизни. Там много чего осталось: дом, работа, разная одежда, телефон с будильником. Деньги. Он бы раньше не поверил, что сможет жить без этого. Рыться в мусорных баках в поисках пищи и шмоток. Спать на скамейке или прямо на траве. Не думать ни о чем. Просто дышать. Пока дышится...

Вчера эта идиллия была нарушена симпатичным песиком, который ни свет ни заря подбежал к его лавочке и едва не лизнул в физиономию. Но хозяйка, совсем молодая, красивая девчонка, утащила малыша куда подальше.

Ну да, от него же пахнет. Воняет. Смердит. Подумаешь! А пес милый... Черная шерстка такая гладкая, блестящая. И белая полоска на грудке, чтобы тебя гладили. Хорошо, наверное, ему живется, с такой-то хозяйкой. Делай что положено, а с тебя пылинки сдувают. Завидки берут. Благодать...

Вроде теплее стало, наверное, солнышко выползает. Соснуть еще, что ли... Почему бы нет?

4

За окном было еще темно, когда он привычно потерся спиной об одеяло. Хозяйка, почувствовав шевеление, сразу приоткрыла глаза. Они с хозяином договариваются с вечера, кто с ним выйдет. Ему-то все равно. Какая лапа лучше: та или эта?

На улице было по-утреннему холодно и сыро. Свернув на лужайку, сразу присел на траву, щедро отдавая накопленное за ночь. И потрусил в парк, чтобы немного размяться.

На одной из лавочек лежал человек. За секунду оказался рядом, учуяв в незнакомце что-то близкое, свое. Но хозяйка тут же оттащила, не дав даже поздороваться толком. Хотя лежащий тоже потянулся к нему, будто следуя тому же порыву. Он был как-то странно одет, от него шел сильный, необычный запах. Пес помнил, как пахнут люди, которых когда-либо видел, но так не пах ни один из них. И все-таки они встречались раньше. Только когда? Где?

5

Просыпаться или засыпать было ни к чему. Нелепые правила, к которым за все годы так и не привык. Куда логичнее настраивать себя на работу в экономном режиме. И если при этом надо лежать с закрытыми глазами, в чем проблема? Для других ты спишь. А когда потребуется, вновь запускаешься на полные обороты.

Здесьний срок заканчивался. Вчера, вывалившись из нелепо коротких, обчехкрыженных земных суток в привычное пространство, он услышал условный звон. Оставалось несколько дней, от силы неделя. А потом придется тихонько уйти. По-английски, чтобы не заметили.

Как они живут, несмышлелыши! Ничего не зная наперед ни на год, ни на минуту. И сами над собой смеются... Один про сатану роман написал, другой – стишок о Боге:

Все – лицо. Его. Творца.

Только сам Он без лица⁶.

Интересный экземпляр был этот землянин: видел все изнутри, а не снаружи. Вроде где-то родился, а уже потом, готовым, сюда попал. Только зря это все. Чем думать о вселенной, лучше бы научились временем управлять. Чтобы повзрослеть наконец...

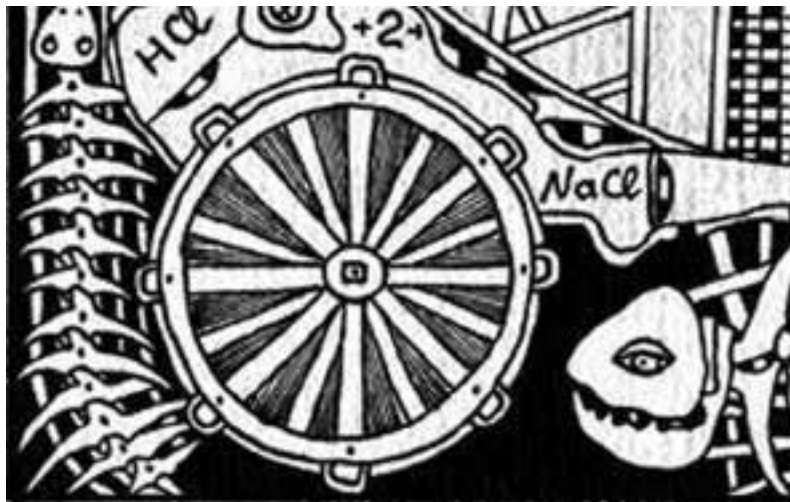
Жизнь здесь короткая, как плевок. И ничего изменить нельзя, кем бы ты ни был: будь добр походить на остальных. Валяй дурака. Спи в оглоблях, пока не окочуришься...

Но сейчас, прощаясь, чувствовал, как обжигает зависть к ним, смешным и наивным. И как жалко становится себя, видящего будущее этой несчастной планеты и каждого ее обитателя.

6

Будильник зазвонил в шесть. Автоматически вскочил, сделал обязательные утренние телодвижения и сбежал на лестнице. Тут же подкатила подвозка: шесть двадцать пять, как положено. Сев на привычное место возле окна, закрыл глаза: можно было покемарить. Какое счастье, что сны сразу не сбываются. И ему не шестьдесят или сколько там настучало, а сорок пять. Ежу ведь известно, что главное состояние – непрожитая жизнь. Каждый ребенок богат несусветно, только что он понимает в этом! А когда поживешь, поистратишься... Уж так мы устроены: ценим то, чего нет. Ну ладно, что философствовать с закрытыми глазами... Поспи лучше, умник. И пусть во сне тебе будет поменьше годиков. Перед глазами промелькнули лица детей: уходя, он на секунду заскочил в их комнату. У них еще все в перспективе. Миллионеры...

Нет уж, лучше спать без снов, оставаясь там, куда занесло время. Его, личное время. Которое не выбирают...



⁶ Строки Леонида Аронзона.

Лариса Маркиянова г. Чебоксары, Чувашия



Маркиянова Лариса Геннадьевна. Родилась и живу в Чувашии. Раннее детство прошло на Урале в г. Новотроицке.

Окончила Чувашский госуниверситет, физико-математический факультет. Работаю в ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» ведущим инженером. Замужем. Есть два взрослых сына.

Писать начала несколько лет назад, совершенно неожиданно для себя. Просто вдруг в тяжкую минуту уныния захотелось как-то изменить окружающий мир, расцветить и раскрасить его, сделать гармоничным, интересным и радостным. Или хотя бы осуществить свои мечты в придуманном, созданном собою мире. Так родились мои первые рассказы. А так как безрадостные минуты, часы и дни случаются так часто в нашей повседневности, то и рассказы стали рождаться все чаще. Позже пришло желание поделиться своими рассказами с другими. Вдруг еще кому-то станет светлее и радостнее.

Имеются публикации в журналах («Луч» г. Ижевск, «Автограф» г. Донецк, «Южная звезда» г. Ставрополь, «Наш домашний очаг» г. Хабаровск, «Нива» Казахстан, «Лик» г. Чебоксары и др.), а также в интернет-журналах («Эрфоль», «Новая литература», «Город “Пэ”» и др.).

© Маркиянова Л., 2015

В новогоднюю ночь

Наступила последняя ночь истекающего года. Новогодняя ночь.

Она сидела за скромным праздничным столом. Смотрела на огонек зеленой свечи. В углу светился экран телевизора. Вот и закончился еще один год. Пролетел мгновенно, промелькнул, пропорхнул. Остались считанные минуты. Кажется, что чуть ли не вчера тоже была новогодняя ночь, так же горела свеча на праздничном столе. Правда, тогда она была не одна, напротив сидел сын Коля. Когда пробили куранты, открыли шампанское, чокнулись, поздравили друг друга, выпили. Потом сын убежал к друзьям, праздновать наступление Нового года. У нее хороший сын, заботливый. Ему не терпелось уйти к друзьям и раньше, но он не оставил ее в одиночестве. Потому что у них в семье изначально так было заведено, что Новый год надо встречать в узком семейном кругу, дома, за праздничным столом. Сначала их было трое – муж, она и сын. Потом осталось двое. А сегодня она за столом одна. Конечно, есть еще один член семьи – персидский кот Вася. Но Вася сидеть за столом категорически отказался. Так вот и получилось, что сидеть за столом в новогоднюю ночь ей придется одной.

Подруга Маша настойчиво звала к себе, беспокоясь за близкую подружку. Но она отказалась: Новый год надо встречать в семейном кругу, даже когда этот круг сузился до точки.

Вот и сидит теперь в совсем не гордом одиночестве, смотрит на огонек зеленой свечи. Ждет боя курантов. До боя оставалось несколько минут.

Звонок в дверь прозвучал так неожиданно, что она даже подскочила на стуле. Наверняка сосед Смирнов Аркадий с пятого этажа. Он за вечер уже три раза к ней прибегал, одалживал то стулья, то тарелки, то вилки – гостей полон дом, а у нее все равно никого нет. Так и сказал: «Дайте мне, пожалуйста, стулья (тарелки; вилки), а то у меня полон дом гостей, а у вас все равно никого нет и не будет». Бестактность, конечно, но, с другой стороны, все верно.

Интересно, что он сейчас попросит? Может, скажет: уступите на ночь вашу квартиру, у меня полон дом гостей, тесно, а вы можете прогуляться на улице.

За дверью стоял Дед Мороз в красной шубе, расшитой серебристыми снежинками, отороченной белым мехом. В шапке и рукавицах, с мешком через плечо.

– С Новым годом! – пробасил Дед Мороз.

– Спасибо, – сдержанно ответила она, – и вас тоже. А я вас не заказывала.

– И слава богу, что не заказывали. Пожить-то еще хочется.

– Я вас не заказывала в том смысле, что не приглашала. Вам, должно быть, в квартиру напротив, там двое детишек. Или к Смирновым на пятый этаж, у них сегодня гости гуляют.

– Нет, милая, я не ошибся. Мне именно к вам. Войти-то можно?

Поколебавшись несколько секунд, она все же распахнула дверь: «Входите».

– Я – настоящий Дед Мороз, я вам известие принес, что Новый год уже в дороге и скоро будет на пороге! Вы чуда ждете? Чудо будет! Ведь Дед Мороз не позабудет: подарок каждому положен, заботливо в мешок уложен... – нараспев задекламировал Дед Мороз басом, едва переступил порог.

– Послушайте, как там вас, – перебила она, – повторяю: вы ошиблись адресом. Либо не в тот дом вошли, либо не в тот подъезд, может, этаж не тот. Проверьте по заявке адрес того, кто оплатил услуги Деда Мороза. Вас там ждут, а вы меня тут стихами развлекаете.

– Дело в том, что я самый настоящий Дед Мороз. И мои услуги не нуждаются в оплате, – и неожиданно запел, – просто я работаю волшебником. Волше-е-е-б-ни-и-ком!

– Не порите чушь. Если вы еще сами не заметили, то сообщаю, что мне уже не пять лет.

– А через минуту будут бить куранты. Мы с вами вот тут в прихожей и встретим Новый год?

– Ах, черт! Действительно. Быстро в комнату! Надеюсь, хоть шампанское вы открывать умеете, дедуля? – не без ехидства спросила она.

– Что-что, а это запросто! – выкрикнул Дед Мороз и, подобрав полы своей шубейки, рысью ринулся в зал.

Били куранты. Пенилось шампанское в бокалах. Они с Дедом Морозом чокнулись, хором сказали друг другу «С Новым годом!», выпили искрящийся шипучий напиток.

«Апчхи!» – сказала она первое слово в новом году.

«Будьте здоровы!» – засмеялся Дед Мороз.

«Я постараюсь», – пообещала она.

А гость тем временем, не церемонясь, уже накладывал в тарелку салат «оливье».

– Это вам. А мне тарелочку? Бокал запасной поставили на стол, а тарелочку не приготовили. Я бы тоже не отказался от салатика. Дорога была дальняя, аж из Великого Устюга. Притомился, оголодал.

– А тарелок нет. Сосед все тарелки забрал, гости у них. Только вот последняя и осталась.

– Так это не беда. Давайте я тогда буду прямо из салатницы есть. Если вы не возражаете.

– Да чего там. Валяйте. Не церемоньтесь, – махнула она рукой, – Однако гость мне достался – ест из салатницы, за столом сидит в шубе, по квартире ходит в валенках.

– Эх, женщина. Романтика вам чужда, похоже, – весело басил гость: – Что за Дед Мороз без валенок? Вы еще бы предложили мне шапку снять, шубу скинуть, то есть обнажиться до майки, трико и носков, а посох и мешок повесить на крючок в прихожей. Что же тогда получится?

– Ничего хорошего. Ничего хорошего нет в том, чтобы сидеть за столом в верхней одежде, головном уборе и уличной обуви. Вы что же, и рукавицы не снимете?

– Разумеется, нет.

– Делаю вывод, что вы вор или мошенник. Поэтому боитесь руки показать, они наверняка все в наколках, как обычно бывает у рецидивистов. А замаскировались одеждой, париком, бородой и усами, чтобы я потом в полиции ваш фоторобот не смогла составить.

– Точно. Именно по этой причине. Впрочем, мой фоторобот давно составлен и распечатан миллионными тиражами, им сейчас все стены и витрины оклеены, все газеты и журналы украшены, а также праздничные открытки. К тому же его регулярно демонстрируют по телевизору. Так что с этим проблем не будет.

– Ладно. Как говорят в Думе: прекращаем прения. Негоже новый год начинать с перепалки. Кушайте, дедушка, салат, не стесняйтесь. Впрочем, последнее слово явно лишнее, вы и так, я смотрю, чувствуете себя как дома. Вот вам пирожки с капустой и мясом.

– Вот, спасибочки. Обожаю пирожки, особенно домашние, тем более с капустой и мясом. А, кстати, и моя лепта в совместную трапезу, – с этими словами Дед Мороз вынул из мешка и выложил на стол огромный пакет с мандаринами, коробку «Птичьего молока», три плитки шоколада, еще одну бутылку шампанского и даже живую алую розу в золотом целлофане, которую торжественно преподнес ей.

– Надо же, и в самом деле подарки, – улыбнулась она, принимая розу.

– А вы что же думали, там у меня оружие, дубинка, кастет и наручники, что ли? Вот вам мандаринчик. Угощайтесь.

Она взяла мандарин, понюхала душистую кожицу. С детства Новый год у нее всегда ассоциировался с запахом мандаринов и смоляным запахом хвои. Новогодняя ночь... Самая прекрасная ночь в году. Так она всегда думала. Еще две новогодние ночи назад было именно так. Теперь все изменилось с точностью до наоборот: теперь новогодняя ночь – самая грустная ночь в году. В эту новогоднюю ночь она одна. Совсем одна. Хотя как же одна? Вон напротив сидит не кто иной, как сам Дед Мороз. Разве не чудо? Тогда почему нет ощущения праздника и волшебства?

– А что это вы так внимательно мандарин разглядываете? – поинтересовался Дед Мороз.

– Да вот смотрю, нет ли на коже следов от шприца. Вдруг вы в него снотворное вприсунули? Съем фрукт, закемарю, проснусь первого января к вечеру, а квартирка обчищена подчистую. Здра-сте, дети – Новый год!

– А вы знаете, итальянцы, к примеру, специально под Новый год всю ветхую мебель выбрасывают и вообще стараются избавиться от хлама и старья. Так сказать, расчищают место под обновы. А вам и выбрасывать не придется.

– То есть вы сейчас чистосердечно мне признались, что пришли меня грабить?

– Ни в коем разе! Просто я вместе с вами пытаюсь рассмотреть наихудший вариант развития событий и прихожу к выводу, что даже в этом случае ничего страшного не произойдет, а, напротив, получатся сплошные плюсы и преимущества: во-первых, вы без хлопот очистите пространство от ненужного, а во-вторых, отлично выпитесь.

– Философ, – усмехнулась она, – но позвольте мне самой решать, что у меня лишнее, а что нет. Это, во-первых. А во-вторых, а, была – не была, съем ваш мандарин. Но только после вас. – Ей пришлось помочь ему очистить мандарин: в огромных рукавицах это было сделать не просто.

Мандарины были сладкими, сочными и ароматными. «Из Испании?» – спросила она. «Из Лапландии», – уточнил он.

Пили чай с домашним печеньем. Горела зеленая свеча, в хрустальной вазе посередине стола сияла в золотом целлофане красная роскошная роза. Было хорошо – уютно, празднично и немного грустно.

– Вот и Год дракона наступил, – размышлял вслух Дед Мороз, – китайцы очень любят и почитают это существо. В Китае считается, что люди, рожденные в Год дракона, просто обречены на счастье, фантастическое везение и всяческое благополучие. Потому что дракон у китайцев – символ добра, мира и процветания.

– Ну, не знаю. Дракон – что-то в этом есть агрессивное, устрашающее, по сути, это огромное пресмыкающееся. У китайцев он может быть и символ добра и мира, а в русских сказках драконы, то есть Змеи Горынычи, всегда были отрицательными персонажами, находящимися в конфликте с окружающими: то они кого-то жаром своим испепеляли, то им головы отрубали. К тому же наступивший год високосный, то есть несчастливый.

– Еще забыли про календарь майя упомянуть, который заканчивается как раз 2012 годом, и про конец света.

– Точно! Конец света неминуем! Я сама недавно видела передачу по Второму каналу, там один очень авторитетный ученый, кажется, академик РАН – забыла фамилию – говорил об этом так убедительно, на фактах все стопроцентно доказал.

– Эх, вы... Поверили глупостям. Подумаешь – академик РАН... Я, главный волшебник, говорю вам наиавторитетнейше, что все это чушь собачья. Вы же умная женщина, с университетским образованием...

– Стоп! Молчать! Руки вверх! Вот я вас и поймала! Прокोल у вас, Дедулечка Морозушко! Откуда вам известно про мое образование, а? И не вздумайте врать, что вам, как главному волшебнику, все известно. Итак, откуда такая точная информация?!

– Так я это... вообще имел в виду. Да сейчас практически у каждого высшее образование. К тому же сразу видно, что вы женщина интеллигентная, с высшим образованием.

– Не врать! В глаза смотреть! Вы не сказали «высшее», вы сказали «университетское», а это совсем не одно и то же. Стало быть, вы точно проинформированы, что я закончила именно университет. По наводке работаете, Дедушка Отморозушко?

Он вздохнул, покаянно развел руки в красных рукавицах, опустил седую головушку: «Не велите казнить, велите миловать. Ваша правда. По наводке».

– Так! И кто наводчик? Отвечать быстро!

– Ваш сосед.

– Это который? Смирнов, что ли, с пятого этажа? То-то я смотрю, он ко мне весь вечер бегал: то ему то, то ему се, а сам глазами так и шарит вокруг, примечает.

– Да нет, не Смирнов. Это Пал Палыч из шестидесятой квартиры.

– Не может быть! – изумилась она, – Не может быть, чтобы Пал Палыч... Такой милый, приятный человек. Такой интеллигентный, эрудированный. Такой приветливый, всегда первым здоровается.

– И что с того? Такие вот приветливые и милые – самые отъявленные. Скажу по секрету, Пал Палыч – наш мозговой центр и главный организатор. В смысле, в нашей банде.

– И все же я отказываюсь верить, – качала она головой, – чтобы Пал Палыч – и вдруг бандит.

– И совершенно напрасно. Я вам чистосердечно признался, а вы не верите. Странная вы женщина.

– Но Пал Палычу на днях стукнуло 87 лет!

– И что с того? Седина в бороду, бес в ребро! Это он с виду такой смирный да дряхленький. Он еще ого-го! Видели бы вы, как этот божий одуванчик в совершенстве приемами восточного единоборства владеет да из маузера в десяточку со спины с закрытыми глазами шлет. Вот и к вам сюда заслал. Дамочка, говорит, одинокая, безмужняя, сынок в армии сейчас служит, кот кастрированный, то есть не мужик, сопротивления не окажет. Вот я и явился к вам. А попробуй не прийти – мигом шею мне свернет! У нас дисциплина похлеще, чем в армии.

– А что он еще сказал про меня?

– Что деньги и драгоценности хранятся в шкатулке в верхнем ящике комода. Разрешите проверить? – с этими словами Дед Мороз-бандит подошел к комоду, выдвинул верхний ящик, вынул деревянную резную шкатулку, продемонстрировал ей в доказательство своих слов.

– Да какие там драгоценности и деньги, – отмахнулась она, – так, по мелочи. Колечко обручальное, цепочка, дешевенькая бижутерия да четыре сотни.

– М-да. Не густо.

– Так что надул вас ваш мозговой центр. Дезинформировал. И все же я никак не могу поверить, что это Пал Палыч.

– А давайте сходим к нему? Прямо сейчас. Спросите сами его в лоб.

– Да как-то неловко... Поздно уже. Он спать рано ложится, старенький все же. Мы его побеспокоим.

– Ничего, ничего. Сегодня можно. Все же Новый год. К тому же он собирался ночью поработать – план ограбления Центрального банка составить.

Неудобно было идти в такую ночь с пустыми руками, хотя бы и к главарю бандитов. Взяли с собою несколько мандаринов, бутылку шампанского и нераспечатанную коробку «Птичьего молока».

Пал Палыч дверь открыл сразу. Не спал. Может, и в самом деле работал над планом. Удивленно прищурился на Деда Мороза, заулыбался приветливо соседке, узнав ее.

– Томочка, деточка, с Новым годом.

– И вас с Новым годом, Пал Палыч. Вот решили заглянуть к вам на минутку, поздравить. Не помешали?

– Что ты, милая. Я очень даже рад. Такая приятная гостья, да еще и с Дедом Морозом. А то все один да один. Входите, гости дорогие.

Прошли к столу. Пришедшие выложили свои гостинцы. Тамара по просьбе хозяина достала фужеры. Выпили по бокалу шампанского. Съели по мандаринке. Замаскированный под Деда Мороза бандит кивнул ей: спрашивай, мол, задавай свои вопросы. Но у нее никак язык не поворачивался.

Хозяин квартиры между тем открыл коробку конфет, угостил гостей, угостился и сам.

– Сто лет не едал «птичьего молока». Мои любимые конфеты, с детства еще. Правда, если честно, то вкус уже не тот. Нет, далеко не тот. Раньше и конфеты были вкуснее, и праздники веселее, и зимы морознее. Правда, Дедушка Мороз?

– А то! Знамо, морознее.

– Странное все же название: «птичье молоко», – задумчиво сказала она.

– Имеется в виду, что это нечто необычное, удивительное, чего не бывает в жизни, – пояснил Пал Палыч.

– Тогда надо бы произвести конфеты с названием «коровьи яйца», «свиные рога», «бараньи перья», – предложил Дед Мороз.

– Не хочу «бараньи перья», лучше «птичье молоко», – не согласилась она.

Уходя от Пал Палыча несколькими минутами позже, она в прихожей замаялась, мельком глянула на Деда Мороза и все же решительно спросила соседа:

– Пал Палыч, хотела спросить вас. Извините меня, конечно, но... Я насчет... наводки.

– Ах, вы об этом, Томочка, – тепло улыбнулся сосед, – да, да, милая. Конечно. Надо взять полкило грецких орехов, вынуть из них перегородки и настоять на водке. Только на хорошей водке. Первое средство для повышения иммунитета. Только на нем и держусь.

Вернувшись домой, она расстелила на столе бумажную салфетку, переложила в нее из шкатулки золотую цепочку, четыреста рублей, янтарные бусы и металлическую заколку для волос в виде розы, аккуратно сложила концы, протянула Деду Морозу: «Возьмите. Чем богаты».

– А кольцо?

– Кольцо не дам. Это память. Да оно и недорогое, за него много не выручите. Возьмите сами еще, что вам надо. Только кольцо не дам, альбом с фотографиями сына и Ваську.

– Какого Ваську?

– Кота моего Василия.

– Его же Оккупантом зовут.

Она застыла. Медленно подняла лицо, широко раскрытыми глазами впиалась в глаза Деда Мороза. Он смешался, отвел взор.

– Вася, ты?

– Ну я...

– Эх, ты. Вот как значит. Знаешь кто ты после этого? Оборотень в бороде. Вот кто.

Она резко повернулась и ушла на кухню, плотно закрыв за собою дверь.

...Пила кофе черный, крепкий. Вошел он. В отсутствие бороды, усов, шубы и прочих дедморозовских признаков это был мужчина немного за сорок, среднего роста, средней комплекции, средней внешности, с первыми признаками мужского возрастного облысения. Она кинула на него быстрый взгляд. Взгляд был строгим и сердитым. Поджала губы, нахмурилась.

Он покаянно стоял перед нею.

– Прости, Тома.

– Бог простит.

– А ты?

– Забирай салфетку и уходи.

– Какая салфетка? Тамара, неужели ты и в самом деле подумала, что я пришел тебя грабить?

– А зачем тогда?

Он вздохнул, переступил с ноги на ногу. Робко попросил: «А можно и мне кофейку?»

Она равнодушно пожала плечом. Он налил себе кофе, сел за стол напротив нее. Пили молча. Молчание было напряженным, тягостным.

– Так зачем же ты пришел, Вася? Да еще в таком законспирированном обличье?

- Просто так. На тебя посмотреть.
- Я не Джоконда, чтобы на меня смотреть.
- Ты лучше.
- Вона как заговорил. Два года назад совсем другое говорил.
- Дурак был.
- Сейчас поумнел?
- Поумнел.

Опять повисло молчание.

- Зачем Оккупанта в Ваську переименовала? Мне в отместку?

– Зачем? – она подняла на него печальные глаза. – Затем, чтобы хоть имя твое со мною осталось. Чтобы было кого Васей окликнуть. Был рядом дорогой человек с дорогим мне именем. А потом сразу – раз! – и нет ничего: ни человека, ни имени... Как ты жил это время, Вася?

– Плохо, Тома. Очень плохо. Так плохо, что чуть себя не порешил. А вчера подумал: пойду хоть посмотрю на нее. Как она? Счастлива ли? Спокойна? Хоть услышать. Увидеть. Поговорить. Как прежде. Все же новогодняя ночь. Авось, да не прогонит. А чтобы уж точно не прогнала, вот приедется Дедом Морозом... Знаешь, Тома, я в последнее время о будущем стал задумываться. Какое оно будет? И понял, что не так важно, что там будет, а главное – чтобы ты там была. Ты и Коля. А если вас там нет, то и будущего нет. Прости меня, Томочка. Прости, в эту новогоднюю ночь. Нет мне жизни без тебя. Ты – мое единственное солнце, – он говорил и говорил. Она кивала в такт его словам. Она его не слышала. Она слушала песню по радио: «Счастье вдруг... в тишине... постучалось в двери. Не ужель ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет где тебя носило?!»

Все будет хорошо!

Звонок. Открываю дверь. За дверью красавица – молодка лет тридцати с небольшим, точеная фигурка, облегающее красное платье-мини открывает загорелые красивые ноги, в глубокое декольте пышная грудь. Макияж, все дела. Улыбаюсь красавице: «Вам кого?»

– Мне вас, – отвечает строго, – меня Любовь зовут.

– Любовь – это прекрасно. Приятно, когда в дом приходит любовь, – радуюсь я, распахивая дверь шире, – входите.

Входит. Стоит посередине прихожей, оглядывается.

– Да вы в комнату проходите. Вон туда. А я быстренько на кухню, у меня там блинчики жарятся. Выключу плиту.

Возвращаюсь к красавице через пару минут. Она сидит в кресле, нога на ногу, локоточки на подлокотниках, спина изящно выгнута, как у кошки перед прыжком. Чувствуется, что предстоит серьезный разговор. Что ж, поговорим.

– Чай? Кофе?

– Нет. Ничего не надо.

– Хорошо. Я так понимаю, что у вас разговор ко мне имеется. Слушаю. Меня зовут Надежда Петровна.

– Я знаю. Я про вас все знаю.

– Да? – искренне удивляюсь я. – Надо же. А я вот про себя далеко не все знаю. Вы потом расскажете мне про меня подробно, ладно? Мне просто интересно. Особенно любопытно узнать свое будущее.

– Охотно расскажу про ваше будущее: очень скоро от вас уйдет муж.

– Сергей? Хм. И куда же он уйдет?

– Ко мне. Я его любимая женщина.

– А... – наконец доходит до меня, – вы – его любимая женщина. Понимаю. Знаете, а я тоже его любимая женщина, по крайней мере, он сам так говорит. Надо же, какое совпадение. Слушайте, Любовь, а давайте по этому поводу выпьем.

– Вы что? Не буду я с вами пить. Вот еще.

– Да вы не пугайтесь. Я же не предлагаю вам напиться. Так, чисто символически – по глоточку за знакомство. – Я иду на кухню за вином и бокалами. Возвращаюсь. Красавица Любовь по-прежнему восседает в кресле, локоточки на подлокотниках, нога на ногу, спина как у кошки перед прыжком. Я ободряюще улыбаюсь ей, ставлю на стол бутылку и фужеры. Наливаю на доньшко в фужеры, иду к госте.

– Давайте, Любовь, за знакомство, – протягиваю ей фужер.

– Не буду я с вами пить, – непреклонна Любовь.

– Ну, как хотите. – Я выпиваю из своего бокала, поясняя: «Это я за знакомство», выпиваю из другого: «Это я по поводу повода вашего прихода».

– Итак, Любовь, – я сажусь в другое кресло, – вы пришли забрать моего мужа.

– Именно. Тем более что он уже практически мой муж. Осталось только оформить все документально. Он любит меня, а я его. Любовь – это главное в жизни. Поэтому мы должны быть с ним вместе. Я как-то говорила об этом с ним, и он в принципе согласился.

– Прекрасно, – радуюсь я, – сейчас мы с вами, Любовь, все вместе сделаем.

– Что сделаем?

– Мы вместе соберем вещи моего, пардон, вашего Сергея. Потом вызовем такси, и вы все увезете.

– Так... вы согласны, что ли?

– А что мне остается? – смеюсь я. – Давайте, голубушка, сразу и приступим. В том шкафу все вещи и предметы мужского туалета, выгребайте. А я в спальне все подберу. Поехали. Цигель, цигель, ай-лю-лю!

«Ветка сирени упала на грудь, миленький мой, ты меня не забудь. Миленький мой, ты меня не забудь! Ветка сирени упала на грудь, – пою я, доставая стопочки мужских отглаженных рубашек из шифоньера. Так, светлые летние брюки, летние джинсы, утепленные джинсы. Носки. Трусы, плавки, футболки. Носовые платки. Джемпер. Еще джемпер. В нижнем ящике электрическая бритва. Три кожаных ремня. На вешалке пестрая гроздь галстуков. Костюм выходной. Еще костюм. Еще. Ветровка. Куртка демисезонная. Куртка зимняя кожаная. Так, что еще? А где его черный японский зонт? Вот он, голубчик. – Миленький мой, ты меня не забудь! Ветка сирени упала на грудь!»

Является Любовь.

– Что, уже все собрали? – удивляюсь я. – Быстро вы. Надеюсь, ничего не пропустили? Там в тумбочке под телевизором документы. Мои оставляете, его забираете! – команду я. – Цигель-цигель! Ай-лю-лю!

«Ветка рябины не тонет, плывет. Миленький душу на ленточки рвет. Миленький душу на ленточки рве-ет! Ветка рябины не тонет, плывет».

– Надежда Петровна, – прерывает мою самозабвенную арию Любовь, – а почему вы так быстро согласились отдать мужа мне?

– А что такое? Разве вы не рады?

– Нет, я рада, конечно. Только... Непонятно как-то. Я думала...

– Вы думала, что я буду рыдать, кричать, драться за него, вас выгонять, да? Нет, милая. Зачем мотать нервы себе и вам? Зачем устраивать спектакли, если все уже решено. Глупо. Там, на кухне, бокал рыжий с изображением тигра – его тоже берите. Это Сережин любимый, внучка подарила на день рождения.

Расправившись с шифоньером, достаю с антресолей фотоальбомы. Пролистываю, вынимаю все фото, где Сергей. Получается приличная стопка. Аккуратно складываю в пакет.

Снова является Любовь.

– Надежда Петровна, я что подумала, ведь это чисто моя инициатива – насчет переезда Сергея ко мне. А вдруг он будет возражать?

– Да ни в коем случае! Как он может возражать против переезда к такой красавице, да еще по имени Любовь? К любимой и любящей женщине! Он будет только рад, – решительно рассеиваю я ее сомнения. – Сейчас мы все сложим в одно и вместе посмотрим, не забыли ли чего. Берите вот это, я вот это и понесли в зал.

Мы переносим вещи в зал, складываем на диван. Вместе с тем, что уже приготовила Любовь, получилась приличная куча: весь диван завален с горою.

– Инструменты! – кидаюсь я к кладовой. – Так, ящик с инструментами, электродрель, набор сверел. Еще ящик с разными железяками. Коробочка с гвоздями и шурупами.

– Кажется, все! – подвожу я итог, после того как перенесла все железки к дивану.

– Надежда Петровна, может, я все же несколько поторопилась? Давайте я сначала поговорю с Сергеем? Хотя бы по телефону.

– Это совершенно лишнее! Вы согласны, Сергей тоже, я не возражаю – все счастливы и довольны. Все нормально. Сейчас я принесу пакеты, баулы, мешки – будем паковать.

«Ветка акации бьется в стекло. Счастье стучалось, да мимо прошло. Счастье стучалось, да мимо прошло-о! Ветка акации бьется в стекло».

Мы ловко и аккуратно пакуем вещи в четыре руки. Работа спорится. Время от времени я, вспомнив что-то еще, убегаю то в спальню, то на кухню, то на балкон, то в прихожую, то в кладовку – как птица в клювике несет в родное гнездышко червячка или травинку, так и я все несу и несу к дивану то флешку, то фотоаппарат, то зубную щетку и пену для бритья, то

тапочки, то упаковку со свечами для автомобиля, то гаечный ключ, то кроссовки, то зажигалку с пепельницей.

Уф. Кажется, все. Упс! Новый ноутбук! Любимая игрушка моего мужа, пардон, бывшего мужа.

– А вот в этом пакете, Любовь, его грязные вещи, не успела постирать, так вы уж сами.

– Да нет уж, не возьму.

– Да нет уж, возьмите. Чтобы не было потом причины ни ему, ни вам сюда возвращаться.

Ну что, вызываю такси?

– А... можно чаю?

– Можно.

Пьем чай на кухне. С блинчиками.

– Я его люблю, – доверительно рассказывает мне Любовь, – Он очень хороший. Он умный, тонкий, великодушный, заботливый, внимательный, веселый и щедрый. Он знаете какой? Он...

– Знаю, – киваю я, – грубый, ленивый, молчун, неряха, невнимательный. Никогда не вспомнит ни про мой день рождения, ни про Восьмое марта. Жмот и скряга, каких мало. А еще у него пунктик – помешан на чистоте, везде ему бардак мерещится, достал меня уже своими придирками. Это он в отца пошел, тот таким же был.

– Не может быть! – не верит Любовь – А может, я ошиблась адресом? Напутала? Может, ваш Сергей – это вовсе не мой Сергей.

– Никакой ошибки. Все правильно. Вы ведь шли к Надежде Петровне, а я и есть Надежда Петровна.

– Но почему тогда он такой разный?

– Вы не переживайте, Любовь, – успокаиваю я ее, – меня он разлюбил, а вас полюбил.

Потому и отношение такое разное. У вас все хорошо будет. Еще добавки?

Любовь задумчиво кивает. Доливаю чаю, докладываю блинчики.

– Вкусные, – хвалит Любовь, – а вот я готовлю не очень.

– Ничего. Он ведь неплохо зарабатывает. Будете в ресторанах питаться или наймете домработницу. Это не главное. Главное в жизни – любовь!

– А почему вы сказали, что вы тоже его любимая женщина. Это он так вам говорил?

– Редко. Только в минуты хорошего настроения. А они у него случаются не часто. Вернее, на людях он сама вежливость и душевный, приятный человек, а дома совсем другой – раздраженный, замкнутый, злой, всегда всем недовольный, ничем ему не угодишь. Он из тех, кто несет в дом весь негатив, что накопил за день, чтобы обрушить все на близких, то есть на меня. Но это потому, должно быть, что я ему надоела, стала раздражать. У вас совсем другое дело – любовь, взаимопонимание, значит, все обязательно будет хорошо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.